

зала мне о драке ни слова, предложила мне в день Октябрьского праздника выступить с речью.

Никак не дождусь уж этого дня. Еще целые сутки надо ждать.

Мы стараемся хоть как-нибудь украсить свою школу, потому что внутри она пока еще похожа на сарай: стены не штукатурены, вверху выпирают балки, окна не застеклены. Дело в том, что под школу нам отвели дом, который для себя строил и не достроил местный богач Лейба Троковичер.

Он теперь очень зол и, уж конечно, достраивать дом не собирается. Он кричит повсюду, что его ограбили. Голда пытается ему втолковать, что двух домов ему не нужно. Недалеко от школы у него стоит еще один дом, сарай, на крыше которого поселились аисты. Есть у Лейбы Троковичера еще коровник, сад, земля.

Троковичер очень богат. Целыми днями бродит он по своим владениям. Его узнаешь за версту: рыжий, высокий, он ходит точно в упряжке,— голова запрокинута, колени высоко подняты, как у лошади.

Первое время он все бегал по родителям и заклинал их не отдавать детей в школу. «Если отдадите,— говорил он,— то пусть их вынесут оттуда ногами вперед».

За это у него забрали двух коров и огород и передали школе. А так как Голде необходимо жить вблизи школы, то ее поселили у Лейбы в старом доме.

Теперь Лейба молчит, только покрхтывает. А мы сами достраиваем школу. Но так как она пока еще не закончена, мы маскируем к празднику все ее прорехи хвоей. Под потолком мы протянули шпагат и развесили на нем флажки, фонарики. Хотим, чтобы у нас в праздник было красиво.

Голда собрала всех нас и рассказала об Октябрьской революции. Всем это очень понравилось. Затем она велела мне идти домой, записать и выучить наизусть свою речь.

— И чтоб не получилось, как со стихотворением «Тирани и темницы»,— напомнила она,— которое ты вдруг забыл!

Я забрался к бабушке на чердак и принялся писать речь.

Через некоторое время я отправился к Голде, чтобы прочитать ей написанное, но не застал ее на месте: она

все бежит то к кустарям, то к профсоюзникам. Тогда я помчался в больницу к Бечеку. Мне хотелось, чтобы он знал: ведь я уже выступаю на митингах. Но здесь я застал Ицика Назимика. Этот парень замещает Голду по комсомолу. Они сидели вдвоем в больничном садике. У Бечека из марли выглядывали только кончик носа, губы и глаза.

При Ицике я всегда чувствую себя неловко, он меня как-то стесняет. Еще когда Ара учился и приезжал на каникулы, Ицик, бывало, заходил к нам домой. Но, насколько я помню, Ара не дружил с ним, хотя мой отец уважал Ицика, считал его примерным мальчиком.

Ицик учился тогда в городском училище и носил черный костюмчик с блестящими пуговицами. Подпоясанный широким поясом с медной пряжкой, он степенно шагал по улицам с книгой под мышкой. По субботам он ходил с отцом в синагогу ремесленников. Наш отец обычно упрашивал Ару сделать ему одолжение и идти в синагогу так же степенно, как Ицик.

Я стою в больничном садике, и Ицик беспрерывно повторяет:

— Скандал! Нехорошо! Совсем не знал, товарищ Каминер, что ты партийный.

Оказывается, фамилия Бечека — Каминер! А я никогда и не думал, что у Бечека есть фамилия!

— Ладно, все это глупости,— отвечает ему Бечек, и глаза его посмеиваются сквозь марлю.

— Нам вот как нужны люди! — говорит опять Ицик. — От интеллигенции и буржуазии ничего не добьешься. — И лицо Ицика становится сильно озабоченным.

Ицик сидит против Бечека, обхватив обеими руками колено. Из-под рубашки угловато выпирает костлявое тело. Голова у него торчком, черные с отливом волосы стоят дыбом, глаза на худощавом лице бегают, точно ищут чего-то, нос изогнут крючком, и кончик его почти достает верхнюю губу.

Голда все время ссорится с ним: она защищает от него и учеников и учителей. А сам он говорит, что к нему относятся здесь недоброжелательно. «Мелкая буржуазия» готова его съесть, и обо всем этом он напишет куда следует.

Мне и Зяме, «рабочим парням», он строго по секрету сообщает: «ваша» Голда о рабочих вовсе и не думает.

Однако при Голде он говорит совсем иное и рекомендует всем брать с нее пример.

— Так что там слышно у интеллигентов? — спрашивает он меня. — Как готовятся к демонстрации?

— Ицик! — отвечаю я ему, а сам гляжу на Бечека. — Завтра я выступаю с речью.

— Вот как? С речью?

— С речью. И я ее знаю наизусть. — Я встаю и, кашлянув, выставлю ногу. — Товарищи члены профсоюза и кустари!.. — кричу я и выкидываю руку вперед.

Бечек умоляет меня не кричать, так как здесь больница, а больным необходим покой.

Тогда я присаживаюсь на корточки и говорю почти шепотом. Я еще только в начале своей речи, а Ицик уже заявляет, что с него хватит и того, что он услышит меня завтра.

Поднявшись с земли, оскорбленный, я кидаюсь из больничного сада вон. Бечек что-то кричит мне вслед, но я не возвращаюсь.

Радость моя омрачена.

Домой я пробираюсь огородами, которые теперь совершенно разгромлены. Всюду лежат кучи вялой ботвы картофеля, мертвые плети арбузов, валяются обломанные кочерыжки капусты.

Вырываю огромный подсолнечник и хлещу им направо и налево по разворошенной земле, топчу разросшийся репей, который впивается в мои бумажные штаны.

Дома я себя вновь чувствую отлично. Вытянувшись на кушетке, принимаюсь повторять свою речь. Я должен ее выучить назубок, потому что у меня отнимается язык, когда я выступаю перед публикой. Так уже было однажды. На открытии школы я читал стихотворение «Тираны и темницы», но забыл несколько строк и удрал за кулисы. Голда вытолкала меня обратно на сцену, и я все же дочитал стихотворение до конца. Мне даже хлопнули.

Однако завтра мне не стихи читать, а выступать с речью.

— Товарищи учащиеся, комсомольцы, члены профсоюза, кустари! Мы пролетариат!.. — Я повторяю эти

слова до тех пор, пока не засыпаю.

Пробуждаюсь я утром. С улицы уже доносятся веселые песни и крики ребят.

Наскоро одевшись, становлюсь против нашего разбитого зеркала, где лицо иной раз кажется огромным бочонком, а иногда сморщится в лепешку, и принимаюсь причёсывать волосы.

Как все взрослые, я не застегиваю воротничка у белой рубашки, и моя черная шея открыта. Не надеваю даже шапки. Пиджачок набрасываю на плечи и, сунув руки в карманы, направляюсь к зданию парткома: там у нас сборный пункт.

Собственно, я должен идти медленно, размеренным шагом, как подобает человеку, который идет на народное собрание, где он выступит с речью, но я пускаюсь бежать: слишком уж все празднично и необычно.

Наши ученики, комсомольцы, члены профсоюза уже выстроились по двое в ряд. И всюду красные знамена с золотым шитьем, кумач и лозунги: «Да здравствует Октябрьская революция!», «Профсоюзы — школа коммунизма».

Голда меня не замечает. Она и весела и озабоченна. Ее красная юбка полыхает то тут, то там. Вот она, на мгновение остановилась и, довольная, вглядывается в развевающиеся знамена, в сияющие лица ребят, которые никак не устоят на месте.

— Не выходите из рядов! — кричит она. — Соблюдайте порядок!

Начальник милиции Рябов сегодня тоже выглядит по-особенному. Грудь у него колесом, на френче красный бант. Он сидит величественно на лошади, натянет повод — и лошадь выгнет шею, опустит голову. Она не идет, а танцует под ним.

— Можно? — подъезжает он к Голде и, привстав на стременах, прикладывает руку к козырьку. — Можно давать команду?



— Пожалуйста.

— Конечно! — поддакивает Назимик, у которого уже глаза на лоб лезут от бесконечного пения, однако он велит ребятам снова и снова петь.

Но нас нечего просить, мы и так поем изо всех сил. Жаль только, что нет музыкантов, если не считать барабанщика Наума. Он так бьет в свой барабан, что у Рябова лошадь шарахается в сторону.

Заметив меня среди ребят, Голда подбегает ко мне сердитая.

— Это что за штуки? — говорит она и выводит меня из рядов.

— Я пою, Голда.

— Я спрашиваю, почему ты не пришел прочитать свою речь?

— Был, Голда, но не застал вас.

— Ты хоть записал ее?

— Записал.

— Дай-ка сюда!

— Я могу наизусть.

— Показывай! — Выхватив у меня из рук листок, она читает, хмурится, затем, взглянув на меня удивленно, почему-то качает головой: — Ну, ладно!.. — Ей не дают дочитать, ее рвут на части, и она сразу куда-то исчезает.

Кругом шумно и весело. Зяма пришел с арбузом, который укрепил на длинном шесте. Из угольков он сделал в нем глаза и нос и кричит, что это буржуй.

— Я сегодня выступаю с речью, — говорю я ему на ухо.

Но он не слышит меня и поет. Прохожу мимо барабанщика, и мне кажется, я совсем оглох. Он дубасит изо всех сил, потому что мы уже на базарной площади.

Встав вокруг стола, с которого будут выступать, мы принимаемся петь еще усердней. Сначала поем тихо, потом все громче и громче. Мы поем так, как если бы от «Интернационала» зависела наша жизнь.

— «Никто не даст нам избавленья...» — кричу я.

— «Ни бог, ни царь и не герой...» — звенят высокие голоса.

Вдруг замечаю, что Голда взобралась на возвышение. Скоро и моя очередь. Я чувствую, что ноги у меня подкашиваются, и подумываю, как бы сбежать.

— Вековая темнота... — кричит Голда. — Голод и нужда... Цепи рабства...

В ушах у меня стучит, и я никак не пойму, что она такое говорит и почему Голды вдруг не стало.

Внезапно слышу, как выкрикивают мое имя. Я весь дрожу.

— Не бойся! Не смотри на людей, — шепчет мне на ухо откуда-то взявшаяся Голда. — Смотри вверх, вон туда, на красную крышу, и ты не растеряешься.

— Нет... я... я не боюсь... — отвечаю я и взбираюсь на стол.

Задираю голову и смотрю на красную крышу, а там полно мальчишек. Тогда я поднимаю голову еще выше, к самому небу, и вижу там трубу и сизоватое облако.

Кто-то начинает смеяться. Слышу крики: «Тише!»

Вероятно, я молчу слишком долго. Невольно бросаю взгляд на море голов. Вижу — Зяма хмурится, Буля посмеивается.

Голда показывает мне на рот: мол, говори! Что ты, онемел?

Собравшись с духом, выхватываю из кармана бумагу, где записана моя речь, и вскрикиваю так, что Назимик и Рябов отступают от меня на шаг.

— Товарищи учащиеся, комсомольцы, члены профсоюза и кустари! Мы... — Я рывком расстегиваю ворот у рубашки, как это делал Велвел Ходорков. — Мы, учащиеся, мы, комсомольцы и кустари, боремся и строим новую жизнь на нашей красной пролетарской земле... Так пусть, товарищи, живут и здравствуют пролетарии всех стран!.. Пусть, товарищи, буржуи...

— Ура-а!.. — кричит Буля, которому показалось, что я уже кончил.

— Ура! — кричат все.

— Да здравствует, товарищи... — хочу я продолжать, потому что еще не кончил читать свою бумажку. Но люди уже поют с непокрытыми головами: «Вставай, проклятьем заклейменный...»

— Голда! — молю я. — Еще не...

Но Голда тянет меня за рубаху:

— Довольно, Ошерка, пой!

Но я не пою — я охрип. Я стою на возвышении и вижу знамена. Все смотрят на меня. И Голда тоже. Она грозит мне пальцем и почему-то улыбается.

КУДА ДЕВАТЬСЯ?

Вот как бывает на свете! Только что я выступил с речью, а сегодня меня выставили за дверь из помещения комсомольской ячейки.

Сейчас мне некуда деться, и я завернул к дедушке. Он не разговаривает со мной с самого Судного дня. Увидев меня, он даже сплюнул с досады, ведь из-за меня он рассорился с матерью.

Зато он крепко подружился с дьяком. Все устраивает с ним менки: дает ему масло, а дьячок — свечи. Мы никак не пойдем, на что ему столько свечей и простыней. Мама говорит, что он спит вовсе без простыней.

Как я уже говорил, мы живем все вместе. Дедушка уступил нам свою большую комнату с двумя покосившимися окнами, а сам перебрался в маленький домик. Крыша над его домом высоченная, заросла мохом, и к передней стене спускается большим карнизом, который поддерживают две почерневшие подпорки. Когда идет дождь, весь базар сбегается сюда укрыться. Вот почему около нашего дома постоянное оживление.

Отец очень доволен этим. Но, как он говорит, дому надо было бы произвести небольшой ремонт, сделать покрепче потолок, обновить крышу, а если бог даст лишних несколько рублей, перекатать стены.

Но боже сохрани услышать это деду! О доме при нем нельзя вымолвить и слова. Целыми днями он чинит свое хозяйство — подсыпает земли к завалинкам, подпирает дрючками стены своего хлева. Дед заявляет, что пока он еще у «нынешних» не видел лучшего жилья. Это он из-за меня фыркает на «нынешних».

Но вот совсем недавно с ним произошла перемена. Как-то утром он пошел по воду, но не смог вытащить ведра из колодца. У сруба стоял красноармеец и держал двух коней в поводу. Красноармеец помог деду вытащить воду, донес ее до самой калитки и даже ласково назвал его дедусей.

Дедушка так часто рассказывает об этом, что люди уже бегут от него. И всякий раз дедушка изображает это происшествие по-иному. Последний раз он уже рассказывал, что красноармеец вошел в дом и упрашивал его: «Дедушка, может, тебе еще принести воды?»

Вот благодаря красноармейцу мы и помирились. Мама по такому случаю испекла гречневые коржи.

Вечерами у нас очень тоскливо, и я стараюсь не бывать дома. Прихожу домой только поесть и поспать. Но сегодня вечером мне некуда деться. В комсомольскую ячейку, где можно поиграть в политфанты и в шашки или так просто посидеть и поболтать, сегодня не пускают. Там музыка и народу полным-полно. Если б не дождь, я бы рад даже под окнами ячейки постоять.

Мокрый до нитки и весь грязный, я только что вошел в дом. Мне, конечно, обидно. Отца впустили. Зайвел, курьер райисполкома, просил даже прийти дедушку и мать. А меня, который уже выступает на митингах, меня, приятеля Бечека, он не пустил.

Я стал напирать, но он разозлился и толкнул меня с крыльца только потому, что мне еще нет восемнадцати. Сегодня в помещение ячейки могут входить лишь достигшие восемнадцатилетнего возраста и старше, потому что там выбирают местечковый Совет. И говорят, Бечека выберут председателем.

В ячейке сегодня горит столько ламп, что даже на улице светло. За окном сверкают косые нити дождя и поблескивает хорошо размятая грязь.

Я дождался на улице Бечека и кинулся к нему, уверенный, что он тотчас проводит меня на собрание.

— Бечек! — ухватил я его за руку, чтобы все видели, что мы с ним приятели.

Но Бечек совершенно рассеян. Он переспрашивает меня несколько раз одно и то же.

— А? Что? Что значит — не впускают! — говорит он и смотрит на меня. — Не понимаю... Что такое? — Он слюнявит потухший окурок и в конце концов оставляет меня одного у дверей.

Мне становится стыдно. Заборами, чтобы никто не заметил, как я позорно отступаю, плетусь домой по темной, грязной улочке. Остервенело льет дождь, но я не спешу. А в темноте меня, как назло, преследуют звуки музыки. Я страшно зол, и все плачет во мне от досады.

Мама сидит и щиплет перья. На наших деревянных кроватях уже такая гора подушек, что и лечь негде, а она все заготавливает перья.

— Ошер, отчего так рано? — спрашивает она.

— Так! — отвечаю я. — Не люблю сидеть и смотреть, как выбирают местечковые Советы.

Принимаюсь ходить из угла в угол и насвистывать. Это я притворяюсь веселым. Разбрасываю и снова складываю свои книги. Но чувствую, что мама глаз с меня не сводит.

— Где ты так вывозился? Дрался, что ли, с кем-нибудь?

И хотя мама говорит это тихо и знаю, что она хочет меня успокоить, я именно поэтому начинаю сердиться.

— Щиплешь, ну и щипли! — кричу я.

И хотя мне уже жалко мать, но я не хочу, чтобы она видела, что я раскаиваюсь, поэтому ложусь на кушетку спиной к матери. Чувствую на себе мамин испуганный взгляд. Чувствую, что она перестала щипать перья. Слышу, как шипит лампа на столе и в кухне однообразно циркает сверчок.

— Ошер! Чего ты бесишься? Что с тобой?

Но я не отвечаю. Я придумываю всякие нелепости, всякие обиды, чтобы удержать в себе гнев. Знаю, что это плохо, что мне не следует причинять матери боль, но не могу признаться в этом, потому что не хочу, чтобы мама думала, что я ей уступаю.

Точно бес сидит во мне. Совсем недавно я оскорбил учителя. Буля рассмешил меня во время урока. Учитель прикрикнул и велел мне выйти из класса. Но так как я был не виновен, то ухватился за парту и заявил, что не пойду.

Голда после этого позвала меня в учительскую и сказала, что за такое поведение она велит исключить меня из состава товарищеского суда. Я ей ничего не ответил, вышел и не извинился. Слышал лишь, как она сказала учителю: с таким надо быть постоянно настороже, в таком возрасте начинает вырабатываться характер.

Я хорошо вник в ее слова и после этого всем рассказывал, что у меня уже есть характер. Хотелось бы только знать, что это такое, так как то, что Голда назвала характером, мама зовет упрямством.

Мама говорит, что я «очень уж горький». Даже Рахиль, с которой я веду себя лучше, чем с кем-либо, говорит, что я ломака. Но я не ломака, а только до смерти боюсь, как бы надо мной не смеялись. И поэтому я часто делаю все наоборот. Потому-то я и с Рахилью суров:

боюсь, что она догадается, что я совсем другой, и посмеется потом.

Мама, я знаю, смеяться надо мной не станет, она меня не оскорбит. Но я не хочу поддаваться. Вскочив с кушетки, я прижимаюсь лицом к стеклу. Свет жестяной лампы на столе делает еще черней залитые стекла и поблескивает в дождевых струйках.

Дождь льет не переставая. Он шумит так, точно под окнами у нас стоит густой бор. Не видно даже домов напротив. Красные четырехугольные рамы точно повисли в воздухе. И только деревянный, весь в копоти, керосиновый фонарь посреди базара свивает вокруг себя сгустки темноты и изредка посветит прохожему, который, подняв воротник, пробежит под хлопающими струями дождя.

Как стерпеть все это! Потираю обеими руками под сердцем, — не могу себе места найти.

Оторвавшись от окна, падаю на кушетку. Я и сам не знаю, что со мной и что мне нужно. Хоть бы кто-нибудь сказал мне ласковое слово.

— Ошерка, что с тобой? Чего ты мучаешься? — спрашивает мама.

Мама, хочу я ей сказать, мне грустно. Я тоже хочу выбирать в Совет; не нравится мне, когда я в одиночестве; ненавижу осень; не выношу, когда у соседа воеет собака. Но ничего этого я ей не говорю. Отвечаю ей внезапно так, что и сам удивлен.

— Мама, — выкрикиваю я, — хочу кислицы!

— И это ты из-за кислиц так кривляешься? — пожимает она плечами. — Сейчас сбегая к деду.

— Нет! Нет! — отвечаю. — Я сам пойду к бабушке. — Хотя мне не хочется идти к нему и ни к чему мне эти кислицы.

Но раз я уж сказал, придется идти.

Осторожно передвигаюсь вдоль стены, ногами нащупываю лужи. В сенях сплошной мрак и невероятно тепло. Какая-то странная кровля у бабушки: даже под открытым небом не льет так, как здесь, в сенях.

Бабушка ползал сегодня до поздней ночи и все подставлял на чердаке ведра, корыта, горшки, банки, чашки. Но в сенях он ничего не поставил.

Я открыл дверь к нему в дом и остолбенел — не могу ни закрыть двери, ни бежать.



У дедушки ставни на запоре. На столе возле окна разбросаны свечи, те самые, которые он добывает у дьякона; чадающая лампочка еле освещает каморку, стекло на ней разбито, и комната полна теней. Посреди каморки босиком стоит дедушка. Он стоит спиной ко мне, весь в белом. Одежда заканчивается множеством складок у самых пят. Длинные широкие рукава совершенно скрыли руки.

— Ой! — вскрикиваю я и прижимаюсь к стене.

Дедушка мгновенно оборачивается. Длинная белая борода его трясется, слезящиеся глаза, окаймленные красными веками, суровы. Он неподвижно смотрит на меня. На стене застыла его большая мрачная тень. Слышно лишь, как стучат ходики, у которых вместо гирь привязана медная ступка, и шипит фитиль в лампочке.

— Какой черт тебя принес?! — вскрикивает он. — Почему не закрываешь двери?

— Деду-ушка!.. — взываю я и пачусь от него. — Дедушка!.. — показываю я пальцем на белые одежды.

— «Дедушка, дедушка»! — передразнивает он меня. — Я давно уж дедушкой стал, а как дойдет дело до погребения, зароят как собаку.

Он прячет свечи в комод, сбрасывает с себя саван и остается в исподнем. После этого он связывает свои погребальные одежды в узелок и прячет их под постель.

— Вот так, Ошерка! — Дедушка садится на постель и поднимает глаза к печке, где стоит чашка с гречневыми коржами. — Уже зовут меня... Пора собираться в путь.

Дедушка принимается жевать бороду. Он говорит задумчиво и как-то странно. Утихомирившись, я подхожу к нему поближе.

— Далеко? — спрашиваю я его, а сам никак не оторву глаз от постели, куда он спрятал свой саван.

— Далеко, — отвечает дедушка, — очень далеко.

— А надолго?

— Как? — удивляется дедушка. — Навсегда. — Он го-

ворит это так, точно сообщает мне какой-то секрет. — Пожил, набегался как собака, а теперь, — он показывает пальцем в потолок, — велят: собирай-ка узелок да на покой!

— К покойникам? — Я чувствую, как становится холодно голове и трудно дышать. — На кладбище, дедушка?

— На кладбище.

Он кладет свою костлявую руку мне на колено, и я чувствую возле себя его белую бороду. В расстегнутой рубашке вижу его ребра и впервые замечаю на костлявой руке крупные синие вены под стянутой кожей.

— Охо-хо! — гладит он меня. — А у тебя, не сглазить бы, пухлые щечки, Ошерка...

Лампа еле теплится, отстукивают ходики, и скрипит под дедушкой кровать. За окном уже не слышно дождя. Пробренчала запоздавшая телега. Долго еще вдали замирает удаляющийся звук. В щель сквозь ставень виден кусочек шляха. На дворе, по-видимому, прояснилось, и взошла луна.

Внезапно за стеной раздается протяжный хриплый вой собаки. Она, видать, завывала на луну.

— Тьфу, тьфу! — отплевывается дедушка и, подбежав к двери, переворачивает калошу, что, согласно поверью, должно защищать от несчастья.

— Ангел смерти ходит, — говорит дедушка и тычет длинным худым пальцем за окно. Затем он быстро выкручивает фитиль у лампы.

Я не могу больше. Подбежав к двери, толкаю ее и изо всей мочи истошно кричу в темноту:

— Ма-а-ма-а!

ПОЛЮБИ МЕНЯ!

Многое кажется мне теперь странным. Не могу, например, представить себе, что когда-то дедушка был ребенком и что я когда-нибудь тоже буду старым дедом. Никогда не думал, что, когда мне весело, кому-нибудь может быть грустно.

Но вот я иду из школы с одноклассницей Рахилью. Я всегда стесняюсь ходить с девочками и поэтому сразу же сказал Рахили, что мне нужно зайти в комсомольскую ячейку.

— Конечно, тебя туда пускают! — заметила она с завистью и, по обыкновению, склонила головку набок. — Ведь твой отец член профсоюза!

Она поглядела на меня сначала растерянно, а затем, топнув ножкой, стала кричать, что и ее отец будет членом профсоюза и что ее тоже тогда примут в комсомол. Потом она расплакалась и убежала.

Мне очень грустно. А ведь мне так хочется, чтобы она подружилась со мной, чтобы полюбила меня!

Недавно я из-за Рахили чуть не убился. А случилось это потому, что в последнее время мне почему-то грустно. Даже мама заметила это и все спрашивает, что со мной случилось.

Ничего со мной не происходит. И все же я сам не свой, а сказать кому-либо стыжусь. Когда я один, подолгу гляжу на себя в зеркальце, которое недавно купил. Разглядываю лицо, одинаково смуглое и зимой и летом, глаза, о которых говорят, что они плутовские; изучаю лоб с буграми у бровей, ощупываю пушок, показавшийся на верхней губе.

Я долго причесываюсь, но волосы никак не ложатся. Я их непрерывно смачиваю и зачесываю на пробор. Но, высохнув, они вновь рассыпаются, становятся дыбом, и я похож на молодого петушка.

Даже проходя мимо лужи или очутившись у пруда за городом, я смотрю на свое отражение. И хоть стою я там вниз головой, я все же замечаю, какой я стал долго-вязый.

Не хочу, однако, чтобы посторонние все это замечали. Вообще на людях я себя чувствую как-то неловко. И в классе я несвободен. Когда тоскливо, могу в школе все вверх дном перевернуть, а иной раз как будто и весело — а вдруг ни с того ни с сего становится грустно. И все из-за Рахили!

Мы учимся с ней в пятой группе. Раньше я ее терпеть не мог, как и всех других девчонок, даже поколачивал иногда. А вот несколько месяцев тому назад я ее точно впервые увидел: ее высокий белый лоб, короткий носик, который смешно подтягивает к себе верхнюю пухлую губку, белые зубы.

Совсем не узнаю я ее теперь. Головку она постоянно склоняет набок, на личике удивление, и все перебирает косы: расплетет и снова заплетет. И смеется она

не как все: прячет рот в черный передник и сразу бежит к девчонкам, обнимает их, шушукается с ними и держится подальше от мальчишек.

Но чем больше она отдалается от меня, тем чаще перед моими глазами встает ее коричневое шерстяное платье и черный передник, ее тонкая, рослая фигурка и красная ленточка в волосах.

Я все делаю, чтобы посторонние думали, что я терпеть ее не могу. Однажды я даже при всех нагрубил ей.

Я боюсь оставаться с ней наедине. При посторонних я могу разговаривать с ней сколько угодно, но стоит нам остаться одним, и я чувствую себя неловко: мне нечего ей сказать. Я стесняюсь, краснею. Мне кажется, что ей скучно со мной и она потом будет надо мной смеяться. Поэтому как только увижу ее, я сразу становлюсь злым, кричу на нее и убегаю.

Но куда бы я ни убежал, где бы я ни был, она всюду со мной. За версту слышу и узнаю ее.

Однажды я стоял у окна и смотрел на дорогу, на телефонный столб и толстые провода, где уселись воробьи. Мимо изредка проезжала подвода, шагала на базар баба с корзинкой на плече. На улице было тихо и жарко. Вдруг — сам не знаю почему — сердце у меня заколотилось, я высунулся в окно и увидел собаку с высунутым языком, нескольких баб, продающих овощи, ряды лавчонок и несколько извозчицких фургонов. В ожидании пассажиров на козлах дремал Иося.

И все же у меня дух захватило: чувствую, где-то здесь должна быть Рахиль. И я действительно вскоре ее увидел — она шла куда-то со своей матерью.

Долго смотрел я ей вслед. Мне стало вдруг так хорошо, так хорошо! Я завидовал ее матери, которая может быть с ней сколько угодно. Только одно меня удивляло:



бабы продолжали сидеть, как сидели, Иося дремал на козлах своей брички и даже не обернулся в ту сторону, где так весело промелькнул красивый бант в волосах Рахили.

Сегодня мы с ней остались в школе. Вечерело. Я сидел на подоконнике и протирал запотевшие окна. Мне видна была соломенная крыша сарая Троковичера и на ней круглое гнездо давно улетевших аистов. По двору без толку носились вороны и галки и усаживались нахохленные на длинный колодезный журавель.

В соседних классах шумели ребята. Занятия уже давно кончились, из учеников остались только те, кто записался в кружки. В кружках у нас обучают портняжному и сапожному делу. Голда говорит, что все должны изучить какую-нибудь профессию.

В местечке у нас уйма лавочников. Их не любят. Мой товарищ Сролик сбежал этим летом из дому из-за того, что его отец лавочник. Он ушел в деревню и нанялся там в пастухи. Но милиция разыскала его и доставила домой. Все местечко тогда сбежалось, поднялся ужасный шум. Отцы вопили, что дети совсем отбились от рук.

Отец Рахили тоже лавочник. Однажды он примчался в школу и заявил Голде, что сойдет с ума: Рахиль записалась в кружок и собирается стать швеей. Подумаешь, какое событие!

Но я остался в школе не из-за кружка. Я буду здесь ночевать. Остались и другие мои товарищи. Теперь здесь всегда кто-нибудь ночует — мы охраняем школу. Недавно кто-то пытался ее поджечь, еле потушили. Кто-то вырубает деревья в саду. Голде прислали письмо без подписи: ее грозят убить.

Всем ученикам хочется ночевать в школе. И мне, конечно, тоже. Я все время нащупываю в кармане дедушкин ножик с костяной ручкой. Я настроен героически, мне хочется совершить какой-нибудь подвиг.

Я слез с подоконника и пошел во двор, чтобы вместе со Сроликом собрать щепок, хворосту и разложить костер. Однако на дворе все уже было готово для костра. И тут же сидела Рахиль. Она держала руки в муфточке и глядела вверх на журавель, весь усеянный каркающими воронами. Сролик что-то говорил ей и, по своему обыкновению, грыз при этом ногти.

Я сел рядом с ними и стал пристально разглядывать дым, который столбом тянулся из двух труб нашей шко-

лы, затем принялся считать низенькие хатки, разбросанные по черной равнине.

— Ошер,— сказала Рахиль, поглядывая на журавель,— ты любишь ворон?

— Терпеть не могу ни ворон, ни галок! — ответил я, хотя ни о воронах, ни о галках никогда не думал и они мне безразличны.

— И я тоже. Мне становится скучно от их карканья,— сказала Рахиль и, схватив камешек, бросила его в сторону журавля.

Но девчонки криворукие. Ее камешек даже не долетел до колодца. Тогда я запустил комком смерзшейся земли в ворон и сразу спугнул их. Они с карканьем поднялись и, покружившись над нами, расселись на голых тополях и на крыше школы. Тут я свистнул в два пальца так, что Рахиль только глаза раскрыла от удивления. Потом я стал кидать камни на крышу: сразу по нескольку штук — и грохот поднялся такой, точно стреляли из пулемета. Рахиль мне помогала, и от этого мне стало сразу весело. Я снял пальто и шапку, кинул ей на руки, расстегнул ворот рубашки. И все кидал и кидал камни и кричал, что мне жарко.

— Сролик,— предложил я и стал срывать с приятеля шапку,— давай бежать, кто кого обгонит!

Но Сролик отказался бежать. Он нахлобучил шапку на уши и стал поеживаться в своем овчинном тулупчике.

Рахиль начала издеваться над ним, но Сролика это ничуть не тронуло. Он очень странный, этот Сролик. Молчит все время, скрытничает. В школе его, однако, любят. Он учится лучше всех, много читает. С тех пор как Сролик обучается сапожному ремеслу, он стал веселее, довольно поглядывает на свои мозоли, не смывает смолы с рук и нет-нет да улыбнется.

— Ну перестань! — оттолкнул он меня.— Не хочу я бегать.

— Не можешь! Не можешь! — стала прыгать вокруг него Рахиль и, покатываясь со смеху, ударила его муфтой.

— Что с тобой сегодня происходит? — спросил Сролик.

Но Рахиль уже не слушает его. Она кинулась бегом и предложила мне ловить ее. Я бегаю, конечно, быстрее ее, но мне не хочется догонять Рахили. Маленькими

шажками несусь вслед за ней и вижу, как у нее болтаются косы, как она размахивает руками. При этом она все время визжит. И отчего это девчонки всегда визжат?

Но она уже утомилась, не может и слова выговорить. Зато она хохочет так, что чуть не валится с ног.

Я нагнал ее во дворе Троковичера и легонько толкнул. Она упала. Вся покрасневшая, — губка приподнята, жакет расстегнут, — лежала она, вытянувшись на мерзлой земле, весело постукивала туфельками и кричала, чтобы я ее не поднимал.

Вдруг скрипнула дверь. Рахиль вздрогнула и, вскочив с земли, стала быстро приводить себя в порядок.

— Голда идет! — сказала она тихо и смущенно.

Действительно, на крыльце показалась Голда.

Не знаю почему, но и я тоже покраснел. Как-то мне стало неловко.

Голда вышла в черном казакине, который выглядит сзади, как колокол, а сверху узок и обшит беличьим мехом. Она держала ведро и, видно, собралась идти по воду. Увидев нас, она остановилась. Ее веселое, молодое лицо удивленно обернулось к нам. В круглой барашковой шапочке, одетой набекрень, она выглядела совсем по-мальчишечьи.

— Рахиль, что это ты так покраснелась? — спросила она, подойдя к нам и раскачивая жестяное ведро.

— Я дежурю в школе, — еще больше краснея, ответила Рахиль, не в силах поднять глаза.

— Ты сегодня ночуешь здесь?

Чуть заметно улыбаясь, Голда поглядела сначала на меня, потом на Рахиль. Я, кажется, понял, почему она улыбнулась, и мне стало стыдно.

Но вот Голда взглянула на низкое разорванное облако, повисшее по ту сторону сарая, и проронила как бы про себя:

— Кажется, ночью выпадет снег. Я люблю первый снег.

Ах, какая она хорошая, что заговорила о снеге!

— Голда! — сказал я. — Дайте, я вам принесу воды!

Я вырвал у нее из рук ведро и помчался, — только бы поскорее скрыться, только бы она не заметила, как мне неловко! По дороге я пугнул петуха Троковичера, стоявшего на одной ноге. Даже пережевывающая жвачку красная корова и та шарахнулась от меня. Ухватив

крюк, я стал быстро спускать его в колодец. Но Голда нагнала меня.

— Я ведь запретила подходить к колодцу! — сказала она. — Сейчас же марш отсюда!

Только когда мы с Рахилью отошли, Голда, нагнувшись над срубом, опустила вниз поскрипывающий крюк и, набрав воды, еще раз улыбнулась нам, затем не спеша зашагала домой.

Едва Голда скрылась за дверью, как мне снова стало весело.

Пусть, однако, Рахиль не думает, что я боюсь Голды или колодца. Вскочив на обледенелый сруб, я обеими руками схватил цепь, на которой висит зеленоватая деревянная бадейка, и стал ее спускать вниз. Завизжал журавель, на другом конце стали подниматься подвезанные камни. Я заглянул в колодец — темно, даже воды не видно, еле различишь только позеленевшие скользкие бревна сруба да сухой промерзший мох у стен.

— Хочешь, Рахиль, я спущусь в колодец? — стал я похвастаться, приплясывая на одной ноге.

Рахиль пришла в ужас, крикнула что-то и убежала.

Но я не уйду отсюда. Рахиль вернется, и я при ней по цепи спущусь в колодец и выберусь наверх, — я отлично научился лазить.

Но тут, как назло, в окошко забарабанил Лейба Троковичер. Одновременно послышался стук копыт и ржанье коня, и начальник милиции Рябов произнес надо мной басом:

— А ну, не баловаться!

На крыльцо выскочила Голда. Не успела она накричать на меня, как я уже соскочил наземь и подошел к Рахили:

— Ничего, в другой раз! — Я беспечно сунул руки в карманы. — В другой раз я все-таки спущусь в колодец.

Рахиль даже не взглянула на меня. Застеснявшись Голды, она сразу отошла в сторону, незаметно подоткнула волосы под платок и чуть улыбнулась Рябову.

Начальник милиции спешил. Конь был весь в мыле, рвался, становился на дыбы, бил копытом. Рябову было трудно привязать его к забору. На крыльцо вышел Лейба Троковичер. Он был когда-то подрядчиком и знает толк в лошадях.

— Ай-яй-яй! — вскрикнул он и сорвал с головы шапку. — Какой конек! Необъезженный?

— Первый раз оседлал! — И лицо начальника, разделенное полоской черных усов, засияло. — Ничего, у меня станет шелковым!

Сдвинув папаху на затылок, приподняв полы шинели и гремя на весь двор шпорами, Рябов направился к Голде.

— Здравствуйте, — сказал он, щелкнув каблуками и подавая Голде руку. — Как поживаете?

— Благодарю вас, — ответила Голда.

Но на лице у нее появилось смущение. Мне показалось, что она стесняется посторонних.

— Вы ко мне?

— К вам, товарищ Ходоркова. Приехал проведать.

Рябов теперь частенько посещает нашу школу: кулаки стали убивать председателей сельсоветов, рабкоров и учителей. Только очень уж сладко разговаривает он с Голдой.

Я все отдал бы, чтобы стать таким, как Рябов, охранять Голду, носить большой револьвер на боку и иметь такого коня.

Мне стало обидно, что все смотрят на начальника милиции и даже Рахиль не сводит с него глаз.

— Подумаешь! — сказал я и сплюнул, когда Голда и Рябов поднялись по ступенькам и скрылись за дверью. — Ломается, а сам боится этой клячи!

— Ездит-то он очень неплохо! — отозвался Сролик. — А какая лошадь! — И он потянул меня к ограде, где конь, высекая искры из-под копыт, громко ржал.

— Падаль! Дохлятина! — вскрикнул я и запустил в коня комок земли.

Конь вздыбился, стал метаться и долго потом не мог прийти в себя.

— Видишь, боится! Мне на лучших лошадях приходилось ездить, — сказал я и отошел от ограды к Рахили.

Но Рахиль опять отодвинулась от меня.

Сролик расхохотался:

— Да что ты говоришь, хвастунишка?! Смотрите на этого хвастуна!

Рахиль надула губки, и между бровей у нее появились две складки.

— Хвастун! Да, да, хвастун! — шепнула она и топнула ножкой. — Лгунишка!

— Я?!

— Да, ты! Лгун! — крикнула она уже громко. И, непонятно почему, ее сощуренные, ставшие злыми глаза наполнились слезами.

— Я? Я лгун? — вскрикнул я, не зная куда деться от оскорбления.

Не помню уж, как я взобрался на ограду, как отвыкал лошадь. У мягких губ животного появилась пена, из розовых ноздрей забил пар. Лошадь стала перебирать ногами. Тогда я начал привязывать ее обратно, но она рвалась, и удержать ее я уже не мог. Стоя обеими ногами на толстой перекладине, я беспомощно оглядывал школьный двор.

Сролик стоял поодаль. Шапка висела у него на одном ухе, тулупчик расстегнулся. Недалеко от него стояла Рахиль. Она прижалась к дверям школы, точно хотела туда юркнуть. Рахиль быстро-быстро вертела муфту в руках и ни на секунду не спускала с меня наполненных слезами глаз.

Я отвернулся и увидел, как по другую сторону дороги, на пустые зимние поля, на кладбище ложатся лучи заходящего солнца. Потом я снова поглядел на школьный двор и, как утопающий, все ждал, что кто-нибудь выйдет и спасет меня, то есть сгонит наконец с забора. Но, как назло, кроме нас троих, во дворе никого не было. Корова жевала свою жвачку под сараем, вверху неподвижно торчало круглое гнездо аистов.

— Ошерка!.. Ошер!.. Я не хочу!.. Я пошутила... Сойди! — услышал я умоляющий голос Рахили.

И тут я почувствовал, что мне уже ничего не страшно. Лошадь стояла совсем рядом со мной, коричневое гладкое седло на широкой, круглой спине было у самых моих колен. Рванувшись изо всех сил, я в один миг очутился в седле и сразу вцепился в гриву обеими руками. Меня подбросило вверх — и я услышал чей-то долгий, тонкий визг и крики позади себя.

Уткнувшись лицом в гриву, я видел, как несется назад земля, и слышал, как тяжело дышит скачущий конь. Но я уже ни о чем не думал, стиснул зубы и жаждал лишь одного — не свалиться.

Вдруг лошадь завертелась волчком и встала на дыбы. Кажется, кто-то мчался сзади. Я услышал крики, увидел всадников. Меня полоснули плеткой по спине.

Кажется, это Лейба Троковичер, я узнал его по хриплому крику. Еще какие-то люди мчатся за мной. Слышен голос Рябова.

Но мой конь уже скакал по полям, перемахивал через рытвины и канавы и все неся впереди... Я еле дышал. Хоть бы скорей свалиться!

...Никак не вспомню, что было дальше. Когда я пришел в себя, вокруг меня стояли люди, они размахивали руками и кричали.

Не пойму, кто это меня тащит с лошади, почувствовал только, что разгибают каждый мой палец, а я все боюсь разжать кулак, чтобы не выпустить гривы и не свалиться.

Почему, однако, темно?

Почему луна на небе?

Но вот меня стащили с лошади, а ноги совсем не стоят. Тогда меня взяли под руки и повели. Я узнал мокрую лошадь, всю в мыле, и увидел Рябова. Он был без фуражки.

Сквозь шумное людское кольцо ко мне протиснулась Рахиль. Свет из окна упал на ее растрепавшиеся волосы и испуганное личико.

— Ага! — сказал я ей.

Мне ужасно хотелось засунуть руки в карманы и показать, что я плюю на таких лошадей, как эта кляча начальника милиции. Но мне не дали говорить. Меня ввели в какой-то дом и поднесли стакан воды.

Все закружилось, замелькало передо мной, как в чаду.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА

Наш председатель Совета Бечек Каминер не любит трусишек. Ему очень понравилось, что я скакал на коне и не свалился.

— Человеком становишься! — сказал он и хлопнул меня по плечу так, что я присел. — Смотри у меня! Не будь нюней!

Я начал было говорить, что могу спуститься даже в колодец, но он прервал меня и заявил, что пора уж мне перестать болтать глупости, и отправил созывать членов Совета.

Местечковый Совет отнимает у меня уйму времени. Я начинаю забывать даже о Рахили.

— Наше местечко, — заявил недавно на митинге Бечек, — должно переменить лицо.

Но, как он пояснил, члены профсоюза и кустари останутся как были, а вот лавочникам придется менять лицо.

После этого мой сердитый дядя Менаше прибежал к нам в дом и стал уверять отца, что всех лавочников заставят стричь бороды. Но я попросил его уйти: когда я дома, никто не смеет болтать чепуху о Советской власти.

Несколько дней назад Бечек накричал на меня и указал на дверь — нечего, мол, лазить через окно. Он велел мне зачем-то зайти в Совет, а мне вздумалось сначала заглянуть к нему в окно: один ли он там? Однако окна в Совете очень высоко от земли, а завалинка вся в репье, да еще вокруг разрослась бузина. Я с трудом разобрал ветки и, ухватившись за раму, взобрался на подоконник. Тут Бечек подскочил к окну и так раскричался, что я с испугу чуть не скатился вниз.

— Это что за шутки! — шипел он и ухватил меня за воротник. Потом он так хватил револьвером по столу, что чернильница подпрыгнула.

Бушует он потому, что однажды в него уже стреляли через это окно. Кулаки теперь часто убивают председателей Советов. Исайка, например, поклялся, что Бечеку все равно не жить, разве только его самого раньше прикончат. Да и не только Исайка, все местечковые богачи очень злы на Бечека. Они вопят, что из-за него они скоро пойдут побираться. Кто-то даже настроил на него донос, будто он взяточник. Но все это, конечно, ложь. Они рвут и мечут из-за налогов, из-за домов, которые он поотбирал у них.

Я очень обрадовался, когда мама сказала, что Бечек велел мне зайти вечером в Совет.

Наш Совет помещается на горе в здании бывшей тюрьмы, где когда-то был наш клуб. Даже сейчас, в сумерках, издали хорошо видны его белые стены, высокие окна и цинковая крыша.

По тропинке с горы навстречу мне спускались председатель профсоюза Мейлах Полевой, кожевник Фроим и еще другие члены Совета. По-видимому, они возвращались с какого-то заседания.

Проходя мимо меня, Фроим сказал: «Наверно, будет буча», — а Мейлах тут же заметил, что члены профсоюза не должны болтать глупостей.

Значит, ожидается какой-то скандал! Это очень интересно, и надо повидать Бечека.

— Вот и я, Бечек! — влетаю я с криком к председателю Совета, но тут же прикусываю язык: он не один — у него Голда и Ицик Назимик.

Они ругаются и не слышат меня. Бечек даже не обернулся, когда я вошел. Видно, только что кончилось заседание — кругом беспорядок, на полу и на столе окурки, валяются коробки из-под папирос.

Бечек говорит о каком-то кирпичном заводе и о земле, а Ицик вопит, что ни к чему заботиться о каких-то лавочниках.

— А я говорю, мы обязаны! — отвечает Бечек.

Голда тоже зло глядит на Ицика. А тот сидит на подоконнике и стучит ногой о стену так, что штукатурка отваливается.

— Я этого не допущу! — кричит Голда. — Я не меньше твоего хочу, чтобы у нас не было лавочников. Но надо действовать разумно. — Она хватает пачку бумаг. — На, смотри, сколько лавочников просят, чтобы им дали землю! Они хотят заниматься земледелием.

— А почему они раньше не брали земли? — ехидно спрашивает Ицик.

— Ишь ты, какой герой! — возражает Бечек. — Не помнишь, что здесь творили петлюровцы! Евреи не смели и носа высунуть за околицу.

— А я говорю — шкуру с них надо драть! Это ведь спекулянты! И не люблю я эти интеллигентские штучки!

— Люблю я твою горячность, Ицик, — говорит уже спокойно Голда, — но если не прибрать тебя к рукам, ты такое натворишь, что шкуру придется драть с тебя, а не с них!

— Что ты сказала?

— То, что слышал, — отвечает Голда и накидывает на плечи пальто.

— Не хочу и слышать! — кричит Ицик и, хлопнув дверью, выскакивает на улицу.

— Ну, я ухожу, Бечек. Думаю, что с Ициком надо все же покончить.

Лишь когда Голда уходит, Бечек садится за стол, сбрасывает с себя пиджак.

— Ну, Ошер, — говорит он, засовывая руки в карманы, — слышал?

— Слыхал.

— Это мы начинаем...

— Изменять лица?

— Какие лица?

— Да ведь ты сказал на митинге.

— Не понимаю, что ты болтаешь, — морщится он и разглядывает меня, силясь что-то припомнить. — Что это тебя не видно? — спрашивает он вдруг.

— Учусь, — отвечаю я. Не стану же я говорить ему, что не прихожу из-за того, что он прогнал меня.

Страхнув с красной материи все лишнее, он говорит мне:

— Ты должен мне сегодня сделать одну работу.

— Какую?

— Перепиши вот это. — И он протягивает мне какие-то бумаги. — А потом подсчитай!

Я пододвигаю скамейку и, расчистив место на столе, беру лист чистой бумаги и принимаюсь его линовать. Одна клетка у меня для номеров, другая — для фамилий, третья для цифр. Бечеку, видно, моя работа нравится. Осторожно выписываю четким почерком фамилии, которые Бечек диктует.

— Пиши! — говорит Бечек. — Пекер Хая Гдальевна. Первый разряд. Двадцать пять.

Мне смешно: ведь у нас не называют людей по фамилии.

— Бечек... — покатываюсь я. Мне не верится, чтобы председатель связывался с какой-то бабой.

— Чего ты заливаешься?

— Это ты о Хаечке?

— О Хаечке. Пиши дальше! Толчин Меер Берович. Второй разряд. Тридцать девять.

— Это тот Меер Берович, у которого лавка на базаре?



— Да, да! — сердится председатель. — Колун Меер Рувимович. Пятый разряд. Двести двадцать пять. Троковичер Лейб Исаевич... Триста.

— Не так быстро! — прошу я.

Бечек горячится, ходит из угла в угол.

— Что это за цифры? — спрашиваю я.

— Налоги, Ошер, налоги! Пиши! — говорит он недовольно. — Рабинович — сто восемьдесят пять!

По крику Бечека, по его метанью от стены к стене я догадываюсь, что пишу что-то очень важное. Делаю нажим сильнее, перо раздирает бумагу.

— Иоффе Вениамин Шмулевич. Второй разряд, — кричит председатель. — Тридцать пять.

— Это отец Сролика, — замечаю я. — Он учится вместе со мной.

— Какого Сролика?

— Который бежал из дому. Рябов доставил его обротно.

— Нет, я его не знаю! — Бечек озадачен и кладет бумагу на стол. — Постой, постой! Убежал от отца?

— Да.

— Здорово! Значит, они стыдятся своих отцов?

— Когда Буля назвал его спекулянтом, Сролик заплакал.

— А ты с ними дружишь?

— Да... Нет!.. — спохватываюсь я. — Терпеть не могу лавочников. Ненавижу их!

— Что ты ненавидишь? Чего ломаешься? — сердится Бечек. — Среди наших торговцев есть десяток богатеев. Их, конечно, нечего любить. Но остальные — беднота.

— Беднота, — соглашаюсь я.

— Чего же ты ломаешься? — спрашивает он и садится. Затем, подтянув колено к самому подбородку, начинает говорить со мной так, как никогда не разговаривал. — Скоро мы откроем кирпичный завод, где смогут работать пятнадцать — двадцать человек. Может быть, удастся получить десятин пятьдесят — шестьдесят земли. Потом откроем фабрику. И у нас будет, как в городе... Ты никогда не бывал в городе?

— Нет, Бечек.

— Вот в городе, когда утром загудят гудки... Думаешь, у нас так нельзя? Разобьем сквер на базарной площади... Поставим крашенные скамейки, как в Николаеве...

— И конку! — прихожу я в раж. — Говорят, в городах люди ездят в вагончиках по рельсам и лошади тянут эти вагончики...

— Какую конку? — спохватывается он вдруг и вытягивает вперед руки, точно сдерживает лошадей. — Тпру, Ошер! — кричит он. — Тпру! Держи крепче вожжи! Держи!.. Штительман — тридцать шесть... Бершадский — восемьдесят девять... И пусть никакая собака не гавкнет потом, что у нас тут одни лавочники!.. Гохман — двадцать... И пусть кончаются все наши бедствия, Ошер!..

— Бечек! Люди жалуются, что из-за тебя они скоро пойдут по миру.

— Из-за меня?

Я ощущаю его тяжелое дыхание на своей щеке и вижу самого себя в его остановившихся зрачках.

— Ошер, скажи мне правду! — говорит он, уставившись на меня так, что я не в силах выдержать его взгляда. — Что говорят обо мне в местечке?

Я опускаю глаза. Мне не хочется ему рассказывать, что многие проклинают его, что многие надеются дожить до той счастливой минуты, когда по нему будут справлять траурную седмицу.

— Ругают меня, да?

— Ругают.

— Видишь ли... — Бечек шагает по комнате, затем, присев на подоконник, хватается обеими руками за раму, так что рукава его солдатской рубахи сползают и оголяют здоровенные волосатые руки. Ветер вздувает его гимнастерку, и председатель становится как бы шире. — Видишь ли... — повторяет он, глядя на крыши домишек, которые жмутся друг к другу, точно стадо овец, на пожарную каланчу, которая будто пририсована к этим синеватым домикам. — Понимаешь?.. — И он опять умолкает. В наступившей тишине слышно, как перекликаются лягушки в прудах, как стучит мельница и где-то далеко на станции кричит паровоз. — Понимаешь ли? Это вроде болезни... Такое вот бывало со мной... В Знаменке один бандит всадил мне пулю в ногу. Я ходить не мог. А когда доктор положил меня на стол и стал резать, я ругал его так, что слышно было в Фастове. Потом я даже стукнул его. А доктор не обиделся и делал свое дело... И я выздоровел... Одним словом, Ошер, я буду поступать, как тот доктор. И они перестанут хромать, — говорит он,

показывая на спящее местечко. — И твой паренек тоже... Как его зовут?

— Сролик.

— И Сролик тоже перестанет страдать.

То ли потому, что лампа начала гаснуть и пламя стало приплясывать, наполняя комнату тенями, то ли потому, что какая-то птичка шелохнулась в кустах, но Бечек вдруг спрыгнул с подоконника и оборвал свою речь.

— Да что мы тут болтаем? — вскрикнул он и принялся надевать пиджак. — Ведь уж скоро день! Беги, да не болтай! Про налоги — молчок! Счастливого пути!

МОЙ ТОВАРИЩ СРОЛИК

Бечек сказал — молчок, я и молчу. Только так, между прочим, рассказал я в классе, что целую ночь просидел с председателем Совета. Рахили я заявил, что очень занят и не успеваю выспаться от всяких заседаний. Про налоги я, однако, никому ничего не говорил, сказал лишь словечко Сролику.

Сролик, по обыкновению, сидел на уроке, подперев руками голову, и слушал, что говорит учитель. После урока он спросил меня, почему я все время гляжу на него и что особенного я в нем нашел.

Тогда я отозвал его в угол и все рассказал. Сообщил ему, что больше лавочников у нас не будет и что все-все, так сказал председатель, будут равны.

Сролик сначала нахмурился, стал грызть ногти, а потом повеселел. Он всегда такой, вечно настороже, будто собирается отбиваться от кого-нибудь или нападать. Но никто не собирается его обижать. Буля однажды обозвал его спекулянтom, и Голда исключила его за это из школы на несколько дней.

Все же Сролик чувствует себя подавленным. Как-то он пристал ко мне: объясни, пожалуйста, чем я лучше его и отчего так задаюсь? Вот и неправда, я вовсе не задаюсь. В школе все мы товарищи. Только Назимик требует, чтобы детей лавочников выдворили из школы. И в помещение комсомольской ячейки он их не пускает.

Мое сообщение сразу ободрило Сролика.

— В самом деле? — спросил он.

— Конечно, Сролик! И фабрика и земля будет... Все будут работать.

Он пришел в восторг.

— И мы будем пахать... крестьянствовать? — спрашивает он, и его жалящие глаза на вечно настороженном лице внезапно загораются.

Ему уже не стоит на месте. Он тащит меня на улицу. Свою шапку он смял и сунул в карман, блестящие волнистые волосы его взъерошены.

Я так расчувствовался, что даже пригласил его на политфанты в комсомольскую ячейку, потому что руководить ими сегодня будет Голда.

— Пойдешь?

— Конечно! — говорит он, обрадованный.

Политфанты очень занимательная игра, мы в нее играем даже на переменах. Но в ячейке она еще интересней. Я, Буля и Зяма постоянно бываем на политфантах — нас, детей рабочих, не гонят оттуда, и мы не боимся Ичика.

Буля, правда, морщится — ему не нравится, что я пригласил Сролика. Но я, как Бечек вчера, отзываю его в сторону и заявляю, что мы поедем на землю и все станут рабочими.

Возвращающееся стадо поднимает столбы пыли. Мчась вперегонки, дети из младших классов поугубляют коров. Но мы, четверо, идем степенно, как и подобает взрослым. Сролик, как я замечая, хотя и чувствует себя хорошо, но сдержан, не хочет выдавать, что у него на душе. Глянет сбоку на Зяму или на Булю и тут же отведет глаза, чтобы не выдать, что идти с ними ему приятно.

Сролик, как и я, очень завидует Зяме и Буле: они уже настоящие рабочие. Зяма работает на мельнице и учится на машиниста. У него убили отца и брата, и на учебу его определил профсоюз. А Буля служит курьером.

Зяма ходит теперь в замасленных штанах, пиджак носит внакидку и фуражку сдвигает на затылок, точно как машинист Сважек. Он курит папиросы и заявляет, что плевать хотел на мельницу: после школы он сразу поедет на большой завод.

Ни о чем мы так не мечтаем, как о заводе. О Сролике нечего и говорить! «Уехать бы, — заявляет он, — куда-ни-

будь далеко-далеко, где никто меня не знает, и стать настоящим рабочим!»

Только один Буля думает о другом. Он поедет учиться на матроса и будет плавать на кораблях. Он даже говорить стал басом, сшил себе штаны клеш и бреется.

Буля выше и плотнее всех нас. Его большая голова на широких плечах немного откинута назад, точно он собирается в драку. Но он не драчун, а только любит померяться силами. Его большие крепкие руки не знают покоя, им бы все что-нибудь делать. Сейчас он закинул свои руки на меня и на Зяму, а я, в свою очередь, на Сролика. Заняв всю дорогу так, что прохожие вынуждены сторониться, шагаем мы вчетвером на политфанты. Нам очень весело, мы дразним собак, и вся деревенская улица провожает нас громким лаем.

Даже Сролик стал разговорчивей. Он рассказывает нам о своих делах, что у отца есть дядя, а у дяди двоюродный брат сапожник, и еще что-то. Он даже покрикивает на нас, чтобы мы поторапливались, так как политфанты, вероятно, уже начались.

Игра уже действительно началась. Кругом полно ребят, сидят даже на подоконниках. И, как всегда, здесь шумно и весело.

Мы еле протискались внутрь. Однако Голды нет. За столом посреди комнаты — Ицик Назимик, заместитель Голды.

Сролик, испугавшись Ицика, остановился. Но Буля втолкнул его в комнату. Тогда наш приятель забрался в уголок и сразу потерялся. Зато мы втроем потихоньку сталкиваем со скамьи швею Добку, Фрейду и еще нескольких девчонок и захватываем их места. Они даже не могут обругать нас, так как Ицик требует тишины.

Вот Назимик задал вопрос, никто не может на него ответить.

— Ну, а ты, Ошер? — замечает он меня. — Как будто знающий парень. Может быть, ты ответишь, что такое СТО?

— Сто есть сто единиц, — отвечаю я.

— Пять раз двадцать, — кричит Зяма.

— Десять раз десять, — стараюсь я его перекричать.

— Нет, — отвечает Назимик. — СТО это — Совет Труда и Оборона. А теперь ответьте на другой вопрос: Октябрьская революция произошла в октябре. Почему ее празднуют седьмого ноября?

— Потому что в семнадцатом году буржуи передвинули календарь на тринадцать дней назад, а мы назло буржуйам...

— Ой, нет! — Сролик поднял два пальца. (Я слышу его взволнованный голосок.) — Совсем не так! Дайте мне слово, товарищ Назимик. Это астрономия...

— Да, да... Земля вращается, — вспоминаю я, — вот почему и отодвинули календарь. Это астрономия...

— Стоп! Подожди-ка! — не дает мне кончить Назимик. Его черные волосы поднялись дыбом. Он стоит, высокий, худой; изогнутый птичий нос раздувается. — Кого я вижу здесь? — говорит он и вглядывается в Сролика, который еле виден среди множества голов.

— Прошу слова, товарищ Назимик.

— Какой я тебе товарищ? — кричит Ицик, и глаза у него становятся такие, точно стряслось какое-то бедствие. — Какой я тебе товарищ?.. На наши вечера уже пробираются спекулянты!

— Он школьник! — кричит Зяма.

— Тихо! — стучит Назимик кулаком по столу. — Предлагаю спекулянту сейчас же покинуть собрание!

— Это Каминер позволил... Он сказал...

— При чем тут Каминер? Вон спекулянтов!

Сролик стоит растерянный. Его большие остекленевшие глаза уже ничего не видят. Лицо его так бело, что на нем ничего не видно, кроме больших веснушек и страшных глаз.

— Не уходи, Сролик! — реву я, взбешенный. — Не слушай его!

— Он не спекулянт! — кричат отовсюду. Все стучат ногами, свистят.

— Что-о? — сверкает глазами Назимик. — Защищать спекулянтов?! Вон! — Он весь дрожит. — Я приказываю!

Но Буля не отпускает Сролика. Из белого Сролик становится красным. Рот у него открыт, и каждое мгновенье судорожно сжимается его горло, точно он глотает.

— Пропусти! — толкает меня Назимик и хватается Сролика за плечо. — Ты долго будешь здесь стоять?

— Не тронь! — кричит Сролик. — Я сам...

— Пошел! — кричит Ицик и отпускает его.

— Отойди! — Сролика не узнать. — Отойди, говорю! — Он изворачивается, отбивается ногами.



Поднимается кутерьма. К ним отовсюду бегут. Врываюсь и я в толпу. Бью направо и налево.

В это время Сролика притискивают к окну, раздается звон, и на пол летят осколки выбитого стекла. От неожиданности все рассыпаются в стороны.

— Контрик! — хрипит Ицик и хочет его поймать.

Но Сролика уже нет, он уже умчался.

Я пускаюсь следом за ним. Чувствую себя виноватым и хочу ему сказать что-

нибудь хорошее. Но, добежав до его дома, я никак не осмелюсь войти. Долго хожу вокруг да около, затем пробираюсь в сени. Слышу, как Сролик плачет и кричит на отца. Потихоньку выхожу обратно, но в дверях сталкиваюсь с Зямой. Он предлагает мне войти первым.

Набравшись духу, я захожу и застаю Сролика сидящим в кухне, на железной кровати. Голову он уткнул в руки и, кажется, плачет. Я вошел так, что он не услышал скрипа, лишь качнулось пламя в маленькой лампе. Отец его, Вениамин, даже не обернулся ко мне. Он стоит у низенького окошка и все трет пальцем запотевшее стекло.

— Добрый вечер, — говорю я тихо.

Сролик мгновенно оборачивается и, утерев рукою глаза, вскакивает.

— Чего тебе здесь нужно? — кричит он и, схватившись за голову, кидается снова на кровать и зарывается в подушки.

— Боже мой, боже мой! — Отец мечется из угла в угол. — Он меня в могилу сведет... Ну вот, Ошер! — Он останавливается и протягивает ко мне руки. Его рыжеватая, точно выщипанная борода трясется. — Ведь вы уже взрослый! — начинает он вдруг говорить мне «вы». — Скажите, разве я хотел быть торговцем? Ведь царь Николай, будь проклято его имя, не давал нам ничем другим заниматься!.. Закрывать лавчонку? — спраши-

вает он и сам себе отвечает: — Пожалуйста! Но чем же мне тогда жить? Ну, скажите! — Он идет вслед за мной и тянет ко мне руки.

Сролик садится на постели и большими глазами смотрит, как отец шагает следом за мной. И когда Вениамин снова повторяет: «Ну, прошу вас, Ошер, посоветуйте, как мне быть!» — Сролик кричит иступленно:

— Папа, не клянчи! — Его худые поднятые руки трясутся. — Не плачь перед ним!

Он подбегает к отцу и обнимает его. В это время входят Зяма, и Буля, и другие парни из ячейки.

Сролик смотрит на пришедших сначала удивленно, потом хочет улыбнуться, но начинает плакать. Однако я чувствую, что это уже слезы не от обиды, это совсем иные слезы.

ГОЛДА

Сегодня я встал чуть свет. В школе занятий нет, но я решил побежать к Голде и сообщить ей обо всем, что было со Сроликом: как он разбил окно, а Назимик приказал устроить над ним товарищеский суд.

Дедушка уже сидел на завалинке. Базарная площадь была пуста, только возле стоянки извозчиков возились воробьи. Задрав кверху бороду, дедушка зачем-то вглядывался в сиявшие на солнце три креста над церковью.

— Куда это тебя так рано подняло? — спросил дедушка. — Постой-ка!

Но я даже не обернулся к нему и сразу кинулся бежать.

Пока я домчался до Голды, я весь взмок. Она живет на окраине, у Лейбы Троковичера.

Я вынужден был переждать на крылечке, отдышаться, чтобы войти к ней тихо, спокойно. Ей не нравится, что я постоянно ношусь как бешеный. Голда учит меня многому. Например, она все время наставляет меня стучаться, перед тем как войти к кому-нибудь в дом. У нас это не принято, и поэтому мне странно.

Но на этот раз я уже готов был постучать. Задержался только потому, что услышал за дверью разговор. Не успел я, однако, опомниться, как произошло что-то неожиданное, и у меня искры из глаз посыпались:



растворилась дверь и стукнула меня по лбу. Из комнаты Голды вышел начальник милиции Рябов.

А Голда меня вовсе перепугала.

— Дорогой мой... Ошерка!..— подбежала она ко мне, прикрыв предварительно за собою дверь.— Ты что-то сказал?

Но я ничего не говорил. Глаз не могу поднять от боли, гляжу на пол. Вижу босые ноги Голды в комнатных туфлях и край цветастого халата.

— Разбил... Сролик разбил...— говорю я, с трудом поднимая голову.

Но Голда даже не слышит, что я говорю, не замечает синяка у меня на лбу.

— Ошерка! — говорит она и стягивает одной рукой халат, а другой подбирает рассыпавшиеся волосы.— Ошерка!..— повторяет она и улыбается почему-то. А глаза у нее красные и полны слез.— Зайди попозже. Я себя плохо чувствую... Вот видишь — Рябов пришел меня звать... Я его позвала... Пришел по поводу деревьев, что Троковичер хотел... Чуть не вырубил...

— Ладно, зайду!

И Голда сразу выпроваживает меня.

Я мгновенно делаю поворот и молнией слетаю со ступенек крыльца. По дороге чуть не придушил курицу Троковичера.

— Чтoб вам пропасть! — визжит хозяин.— Чуть свет явились!

Троковичер, стоя в одном исподнем среди двора, крошит курам хлеб и кричит: «Тю-тю-тю!»

Скверно у меня на душе. Я еще больше ненавижу его теперь из-за деревьев, которые он собирался вырубить. Из-за них Голда только что плакала.

— Мы еще вам покажем! — кричу я на весь двор так, что даже Голда высовывает голову из-за двери.— Мы вам покажем, как вырубать деревья!

— Какие деревья? — спрашивает он и прет прямо на меня.— Пропади ты пропадом!

Видно, он вздумал расправиться со мной. Но я его не боюсь, я плюю на него. Пусть только пальцем тронет!

В этот день я к Голде не зашел. Назавтра я обнаружил у нее на двери замок. В школе ее тоже не было. Оказывается, вчера вечером Голда уехала на несколько дней в город. Говорят, она себя неважно чувствовала и поехала к доктору.

Назимик уже несколько раз заходил в школу. Он обвинил учителей в том, что они воспитывают «контриков» и хулиганов, пугал меня, что больше не пустит в ячейку. Но я не из трусливых.

Если бы не это разбитое стекло, ничего не было бы. А тут преподаватель Муни пригласил меня и Зяму в учительскую, бранил за то, что мы допустили этот скандал, и предложил собрать товарищеский суд.

Я сразу заявил, что болен, и указал на шишку, которую набил мне Рябов. И Зяма отказался, так как после занятий он работает на мельнице. Зато очень обрадовался Юзя. Он тоже член товарищеского суда. Отец его — присяжный поверенный, и Юзе обидно, почему председателем суда выбрали меня, а не его. Он вечно клянчит, чтобы я ему дал попредседательствовать, а я назло не уступаю ему. Вот теперь-то он рад! Он тут же помчался и объявил всем классам, что завтра вечером состоится товарищеский суд.

На следующий день вечером в школе было полно-полно.

Юзя стал медленно читать обвинительный акт:

— «Несмотря на то что учащиеся рабочей школы обязаны вести себя примерно и не бить стекла, ученик рабочей школы Сролик Иоффе все же бил стекла...»

— Всего одно стекло!..— раздался голоса из зала.

— Не важно... Все же бил стекла в помещении ячейки... «И, принимая во внимание...» — Голос у Юзи вновь становится торжественным и важным.

Собравшиеся пялят на него глаза, глядят ему прямо в рот.

— «...и, принимая во внимание, что Сролик бил стекла...»

Но в эту торжественную минуту раскрывается дверь,

и в класс входит Голда. Все оборачиваются, поднимается шум.

Юзя свирепеет.

— Комендант! — кричит он и ударяет кулаком по столу. — Кто там вошел? Вывести его! — Затем продолжает чтение обвинительного акта: — «...и так как он выбил стекло, мы постановляем судить его и вынести соответствующее наказание. Посему...»

— Да не глотай ты слова! — говорит подошедшая Голда.

Юзя пытается состроить улыбку.

— Ребята, кажется, у вас собрание? — хмурится Голда. Она глядит сначала на Юзю, потом на Сролика. — Что случилось?

— Он выбил стекло...

— В помещении комсомольской ячейки...

— ...потому что Ицик хотел его выгнать, — отвечают со всех сторон.

— Вот как? — улыбается Голда. — Как же это с тобой случилось, Сролик?

Она улыбалась и говорила со Сроликом очень ласково. Все были ошеломлены. Даже Сролик поднял на нее удивленные глаза. А потом все стали кричать, что Сролик не виновен. Тем временем Юзя потихоньку смылся.

— Дети, — предложила Голда, — не надо шуметь. Давайте отложим суд... Еще раз обдумаем... А пока идите по домам!

Услышав это, я тотчас позвал Матильду. И наша немая уборщица, в красных чулках, постукивая деревяшками, тотчас вбежала и стала гнать детей домой и тушить лампы.

В опустевшем классе остались лишь я да Голда. По-видимому, она только недавно сошла с поезда и устала. Тонкая ее косынка сползла и открыла белый пробор посередине головы и немного всклокоченные волосы.

— Ошер, — спросила она, — что здесь произошло? Как это он выбил стекло?

— Ицик Назимик при всех назвал его спекулянтом и выгнал... Сролик плакал...

Я рассказываю ей все по порядку: как после беседы с председателем Совета я позвал Сролика на политфанта, как после всего случившегося помчался к Сролику домой. И Зяма прибежал. А Сролик плакал.

— Как думаешь, надо было Сролика доводить до этого? — спрашивает Голда. — Назимик правильно, по-твоему, поступил?

— Нет, — говорю я и не пойму, почему она так сердито смотрит на меня.

— Нет, говоришь? Ну, а ты защитил его? Сказал, чтобы его не гнали?

— Да, Голда. Но Ицик меня не послушал. Ведь он ваш заместитель.

— Я тебя спрашиваю, почему ты допустил собрание товарищеского суда?

— Разбил стекло... Муни... Не знаю...

— Чего ты не знаешь? Ты ведь сам его позвал? Ты ведь только что сказал, что его не надо было выгонять?

— Но ведь это Ицик...

— Чего опять Ицик? Сколько тебе лет? — злится она.

— Тринадцать.

— Если в тринадцать ты себя так ведешь, что же с тобой будет в тридцать? — Впервые за все время она говорит со мной так резко, хоть я ни в чем не виновен.

— Голда... — говорю я тихо и чувствую, что сейчас расплачусь.

Но Голда не слушает меня.

— Ошер, — произносит она взволнованно, — ты, кажется, уже не ребенок. И не лги! Скажи чистосердечно, ты по-настоящему ненавидишь наших врагов? Готов ли ты кинуться на негодяев, которые еще паскудят нашу жизнь?

— Да, Голда. — Но я не в силах глядеть ей в глаза и отворачиваюсь. Отхожу к раскрытому окну, гляжу на кривой лик огромной луны, повисшей меж тополями.

— Ошерка! — начинает она дружелюбно и пробует усадить меня возле себя.

Мне становится еще хуже от ее дружелюбия. Я высываюсь в окно, гляжу на белый туман, клубящийся меж копен на поле, на придорожный песок, поблескивающий в лунном свете.

— Чтоб я помер, Голда!..

— Без клятв, Ошер, не люблю этого!

— Чтоб я помер, — говорю я топлям и небу, — если я не кинусь на врагов!..

— Ну ладно, Ошер, — прерывает она меня. — Это ничего, — и поднимается, так как Матильда смотрит на нас испуганными глазами и собирается тушить свет.

Пойдем! — говорит она и, положив мне руку на плечо, ведет из класса. — Нужно было хоть предупредить меня об этом.

— Товарищ Голда, я заходил к вам. Хотел тогда рассказать... Но Рябов... И вы чего-то плакали...

— Не кричи! — закрывает она мне рукою рот и беспокойно озирается по сторонам.

Никого нет. Только Сролик, опершись о забор, стоит в уголке двора, опустив голову.

Голда не видит его. Прислушиваясь к далеким крикам удаляющихся детей, к лаю взбудораженных шумом собак, она пригибается ко мне и говорит:

— Я себя тогда плохо чувствовала, Ошер... Была больна... — Она заглядывает мне в глаза. Высокие тополя чуть пропускают лунный свет. Отдельные лучики сияют над головой Голды. — Ты зашел тогда... А Рябов как раз пришел меня звать... Насчет деревьев...

Она хочет мне еще что-то сказать, но слышатся шаги. Сролик направляется к калитке. Она замечает его и обрадованно спрашивает:

— Кажется, Сролик?

— Сролик! — кричу я.

Но он не отзывается. Постояв немного, он молча идет дальше.

— Сролик, ведь тебя зовут!

— Чего? — грубо кричит он. — Чего вам от меня нужно?

— Иди сюда!

— Не хочу! Все смеются!.. Не хочу, чтобы и вы надо мной смеялись.

— Постой же! — Голда подходит к Сролику и берет его за руку, затем ведет нас обоих во двор к Троковичеру. — Здесь светлей, — говорит Голда и берет меня за руку. — Посмотри-ка, Ошер, разве я смеюсь?

Она останавливается. Брови у нее насуплены, прядь волос упала на лоб. Лицо ее под луной то светлеет, то темнеет.

— А может быть, — говорит она внезапно Сролику, — мне тяжелей, чем тебе?..

Точно забыв про нас, она направляется к своей двери. Повторяя ее движения, еле-еле колеблются сзади складки ее расстегнутого пальто. Взойдя на крыльцо, она отпирает замочек на двери и уходит в комнату.

Сролик стоит возле меня и заплаканными глазами смотрит на колодезный журавель. Козырек фуражки у него набоку, давно не стриженные волосы растрепались.

Теперь стало так светло, что видны даже обручи на замшелой бадейке, прутья в большом круглом гнезде на крыше сарая. Видно даже аистов. Они спят, спрятав головы под крыло.

— Ребята, чего же вы стоите? — спрашивает Голда, появляясь на крыльце. — Почему не подойдете?

Она уже привела себя в порядок. Бордовое платье делает ее выше, красивей. Черные волосы поблескивают под луной. Она тащит нас на крыльцо. В открытую дверь я вижу неприбранный стол, пальто, брошенное на незастланную железную кровать, портрет Ленина на стене.

— У меня не убрано, не глядите, — захлопывает она дверь.

Голда первой опускается на ступеньку и, обхватив руками колени, говорит, что сегодня чудесная ночь, что она страшно рада тому, что живет на окраине.

Я тоже присаживаюсь. Замечаю — она глядит на крышу. Гляжу и я туда. На соломенной крыше сарая появилась кошка. Она мягко ступает по самому краю ее, видно, крадется к гнезду. Это мне очень нравится, потому что сейчас аисты проснутся и будут кошку драть в клочья. Но когда я снова оборачиваюсь к Голде, она, оказывается, уже глядит на Сролика. Мне даже обидно становится. Сролик стоит, опершись о перила, его фуражка лежит на земле, и его рыжие рассыпавшиеся волосы пылают.

— Сролик! — говорит Голда и берет его за руку. — Ты и на меня сердишься?

— Нет, товарищ Голда, нет! — Он поднимает на нее глаза, полные слез.

— Ну так садись! Расскажи что-нибудь!

— Мне нечего...

Он садится, говорит с ней дружелюбно. И я знаю: его слезы не от обиды, а потому, что с ним обходятся ласково.

В ночной тишине слышно, как возятся на насестах проснувшиеся куры, как жует жвачку корова в хлеву, как прощуршит крыло летучей мыши. Издалека доносятся пение. Это где-то в полях поют девушки. Протяжная, тихая песня хватает за душу.

— Эх, ребята! — говорит задумчиво Голда и спрашивает вдруг, хорошо ли нам.

Я отвечаю, что нам хорошо. И это правда. Не знаю, как это назвать, но у меня такое настроение, что, кажется, и мухи не тронул бы сейчас; даже за чужое горе больно. И может быть, поэтому я начинаю сердиться на кошку, которая уже подобралась к гнезду.

— Брысь! — кричу я и, схватив комок земли, швыряю в кошку. — Брысь!

— Господи! — говорит Голда и усаживает меня подле себя. — Ведь ты можешь душу вымотать! Трокови-чера разбудишь!

Даже Сролик улыбается. И мне становится не по себе. Мне не хочется, чтобы она думала, что у меня только аисты на уме.

— Терпеть не могу кошек! — говорю я.

— Петушок ты еще, Ошер. И ты говоришь, тебе уже тринадцать?

— Тринадцать.

— А тебе, Сролик?

— Тоже тринадцать.

— Да, петушок ты, Ошер! А ты, Сролик, настоящий петух. И какой-то обозленный. Не хмурься! — грозит она ему пальцем. — Не надо.

— С чего же мне радоваться? — говорит Сролик тихо, надорванным голосом. — А если бы вас оскорбили, если бы вас назвали спекулянткой, вы бы радовались?

— Вот что я хочу сказать... — отвечает Голда. — Еще очень трудно. Все еще разрушено. Мы еще только-только становимся на ноги...

— Да я не о хлебе говорю, — прерывает ее Сролик. — Я хочу только, чтобы меня не унижали. Ни отец, ни мать не сделали ничего такого, за что меня нужно оскорблять.

— Не то, — говорит она, не сердясь. — Никто ничего не имеет к твоему отцу. Несчастье в том, что еще слишком много у нас всяких лавочников, которые не трудятся и не могут отвыкнуть от безделья... Даже ты, Сролик... Тебе ведь не по душе занятие твоего отца?

— Да, — выдавливает Сролик.

— Ну, вот видишь. Не потому, что ты его не любишь, а потому, что не хочешь идти его дорогой. Все мы хотим быть лучше наших отцов.

— Но ведь не пускают...

— Дело не в этом. Мы еще бедны. А нэпманы ожидают. Раскрой сейчас двери — и их дети все заполонят. А вы знаете... — Она начинает почему-то оглядываться. Мы даже не заметили, как луна стала больше, красней и уже спускается за сарай. — Это было три года назад, — продолжает Голда. — Вам было лет десять — одиннадцать, а мне двадцать. Ленин тогда сказал, что лет через десять — двадцать мы доживем до социализма. Это, значит, случится примерно в тридцатых — сороковых годах... Но пока... — И, как часто в последнее время, Голда вновь хмурится, говорит отрывисто, как бы про себя; скажет слово, и потом долго приходится ее ждать. — А пока... Надо драться за это. Будут еще трудности и беды. И я бы очень хотела, чтобы вы запомнили... Это, может быть, самое трудное и самое важное... Мне бы очень хотелось, чтобы встретившееся на вашем пути горе не заслонило от вас всего света, не бросило бы тени на ту большую работу, которую нам предстоит проделать... Вы знаете, — она несколько отодвигается от нас, — я говорю это потому, что постоянно может что-нибудь стрястись... Иной раз доверишься человеку... Не обдумашь... Негодяй и подведет... Отдашься всей душой... А кончится тем, что он загадит и затопчет все в тебе...

Голос ее становится слабей. Она утихает, бледнеет и просит вдруг глоток воды.

Я бегу к колодцу. Сролик мчится вслед за мной. Но когда я опускаю ведро вниз, замечая, что Голда приподнялась и держится рукой за перильце.

— Нет, не надо. Идите домой! — говорит она и машет нам издали.

Взойдя по ступенькам, она уходит к себе в комнату.

В ГРОЗУ

По мне сразу можно узнать, какое у меня настроение — грустно мне или весело. А вот у Сролика ничего не поймешь. Кто его знает, рад он или не рад тому, что Назимика исключили из комсомола. Одно лишь я знаю: Сролик стал приветливей и дружелюбней со всеми.

Собрание длилось три вечера. Вела его Голда. Назимик почернел, как земля. Первый вечер он бил себя в грудь и кричал, что не будет молчать. Но на третье собрание пришел секретарь партийной организации Ищенко. Он говорил совсем тихо, и вовсе не о Назимике. Речь шла о Голде: почему она допустила все это, почему молчала об отношении Назимика к ученикам и преподавателям? На этом же собрании Зяму выбрали заместителем секретаря комсомольской ячейки, так как он рабочий и на полтора года старше меня.

Его выбрали позавчера. А сегодня у нас снова собрание. Но я не смогу пойти. Вот уже несколько дней дедушка чувствует себя плохо, а нынешнюю ночь его еле отходили.

Сегодня утром он позвал меня прощаться. Я зашел к нему перед уходом в школу. Дедушка сидел, опершись на большую подушку.

— Это, кажется, Ошер? — спросил он и вытащил из-под одеяла две костлявые почерневшие руки с синими вздувшимися венами. Проведя ими по усам, он отер затем свою поредевшую белую бороду. — Убери это! — оттолкнул он ложечку, которой его мать кормила.

— Отец!.. — стала упрашивать его мама.

— Ешь! — прикрикнул на него я.

Но дедушка не слушался. Он безразлично смотрел в низкий деревянный потолок.

Полоса солнечного света пробивалась через занавешенное окно. Дедушка пробовал зажмуриться, но это ему не удавалось. Нижние веки у него отвисли и открыли красные прожилки на белках, а глаза стали большими, страшными. И нижняя губа у него опустилась.

— Ох, Лея, Лея! — вздохнул дедушка, и дряблая кожа на лице у него пошла бороздками. — Хочется чего-нибудь соленья... Если бы ты дала мне кусочек тарани, как когда-то твоя мать, царство ей небесное... Или селедки с луком... Ах, Лея, какая у тебя была мать! Святая душа. — И дедушка вдруг начинает плакать из-за того, что лет тридцать тому назад умерла бабушка. — Праведница была. — И слезы градом катятся по его щекам.

Терпеть не могу, когда плачут; выхожу поспешно из дому и направляюсь в школу.

Но в школе уже давно идут занятия. Скоро каникулы, опаздывать совсем не следовало бы. Хорошо хоть,

что у меня есть причина. Пристраиваюсь пока под деревом. Однако обидно, что все учатся, а я вынужден валяться на траве.

Во время перемены я вхожу в класс. Здесь одна только Рахиль. Надутый, усаживаюсь за парту и раскрываю учебник.

— Ошер, — говорит она, — тебя учитель вызывал.

Я молчу, положил голову на парту и прикрыл лицо руками.

— Ты что, спать устроился? — звонко смеясь, спрашивает Рахиль.

Мне нравится ее смех, но сейчас он меня раздражает.

— Смеешься? — со злостью говорю я. — У меня дедушка умирает, а ты смеешься?

Ей неловко, она отходит в сторону. Ее курносый носик еще выше подтягивает к себе верхнюю губку. Она скручивает и раскручивает передник и вдруг начинает рыться в своей сумке.

— Ошер, хочешь хлеба с маслом? — спрашивает она и подает мне бутерброд, точно просит извинения.

— Уйди! Оставь меня!

Рахиль уходит. Слышу, как за дверью перестали прыгать и смеяться. Я даже слышу, как там шушукуются, и знаю, что это обо мне. Каждый, кто входит теперь в класс, ступает тихо, говорит негромко и поглядывает в мою сторону, готовый сделать для меня что-нибудь доброе. Я чувствую себя совсем хорошо.

Но вскоре мне становится неловко от собственной выдумки. Ведь дедушка вовсе не умирает, ему просто захотелось тарани и селедки с луком.

Но наш старенький учитель, который угадывает по глазам, знаю ли я алгебру, сегодня вызвал Булю, а меня не тронул.

Однако как это возможно ходить хмурым целый день? Я, например, не умею. Мне уже давно весело, а я обязан сдерживаться. И вдруг появляется Голда. Она, видимо, только что из города. Завидев ее, я моментально прячу лицо в ладони и разглядываю пол.

— Товарищ Голда! — Я слышу, как Рахиль отзывает вошедшую и тихо говорит ей: — Ошеру плохо, у него дедушка при смерти.

Затем вижу краем глаза, как Голда прижала палец к губам и мигнула Рахили.

— Ошер! — зовет она меня. — Чего это ты так сидишь? Поди-ка сюда! — Мы выходим с ней во двор. — Пойдем ко мне, закусим! — Она кладет мне руку на плечо. — Брось, Ошер, дедушка уже здоров!

Мне хочется ей сказать, что я и сам это знаю. Но умалчиваю. Наоборот, продолжаю еще сильнее гримасничать.

— А знаешь, Ошер! — пытается она меня отвлечь. — Для тебя есть новость.

Тут уж я больше притворяться не могу. Мне хочется поскорей узнать, что за новость.

— Нет, это тебе скажет Ищенко, — отвечает она на мой вопрос.

— Ищенко? — удивляюсь я. — Я с ним никогда дела не имел.

— Да, Ищенко. Он был в Харькове на партийной конференции и привез тебе привет.

— Мне?

— Тебе.

— И велел мне прийти?!

— Сегодня же.

Но после занятий, когда я собрался было бежать к Ищенко, Голда остановила меня, заявив, что партком уже все равно закрыт, и попросила меня задержаться в школе.

— Что ты там будешь делать, дома? Дедушка болен... — говорит она.

— Не болен, — отвечаю я. — Ему только хочется тарани и он плачет по умершей бабушке.

— Что ты такое болтаешь, — говорит она и глядит сначала на мои запыленные ботинки, потом на штаны, на рубаху. И вот уже она глядит мне в глаза. — Что ты болтаешь?

Пришлось согласиться на предложение Голды и задержаться. Она попросила меня помочь ей перекладывать книги в учительской. А когда мы сложили их, ей вдруг вздумалось нарвать цветов. Домой я поэтому отправился, когда стало темнеть. Верней, я просто сбежал от Голды.

Никогда не шел я домой таким веселым. За тесьму фуражки я насовал сирени, в руках у меня была настурция. Меня не смущало даже нахмурившееся небо. Белые курчавые облака там сгустились, стали темно-бурыми и наполнили воздух какой-то гнетущей тишиной. Две запоздалые коровы, поднимая пыль, медленно плелись

песчаной дорогой; они тоскливо мычали, вытягивая шеи и поднимая кверху морды.

Но мне было весело. Я прижимал пальцами глазное яблоко и наблюдал за тем, как первые огни в домах бьют пучками красных нитей из окон. А когда заболели глаза, я принялся свистеть.

Однако не успел я показаться на нашей улице, как все усталились на меня. Откуда-то появился мой длинноногий дядя Менаше, у которого полтора волоса в бороде. Он вытарашил на меня глаза и остановился.

— Бездельник! Чтoб ты пропал! — крикнул он и смачно плюнул мне вслед.

«Это, видно, оттого, что у меня на фуражке сирень и я свищу», — подумал я и стал свистеть еще громче. Но чем сильнее я свистел, тем больше глазели на меня.

А возле нашего дома я увидел старую Хаю-Сору. Было душно, а она напялила на себя толстую шерстяную шаль.

— Боже мой! — всплеснула она руками. — Такой праведник!.. И умирает! Твой дедушка умирает!

Я швырнул наземь цветы и кинулся к дому. Предо мной расступились, даже открыли мне двери.

В комнате у нас полутьма. Стекло, видно, разбили, и лампа мигает и чадит. Мама лежит, уткнувшись лицом в подушки. Вокруг нее сидят женщины. Время от времени она поднимает голову и спрашивает:

— За что? Почему смерть не обошла моего дома?

На цыпочках подхожу к двери дедушкиной комнаты. У порога сидит Ейна, служка ремесленной синагоги. Бенця из погребального братства тоже здесь. Он стоит на своих кривых ногах и пощипывает бородку, такую облезлую, точно ею долго подметали шоссе.

— Ах-ах-ах! — зевает он. — С утра мучается, никак умереть не может, — и подводит меня к дедушке.

От испуга и неожиданности я цепляюсь за спинку кровати.

На кровати уже будто лежит не дедушка: белки у него выкатились, глаза без зрачков усталились в потолок. Вижу, как он страшно корчится под одеялом, как надуваются его посиневшие щеки. А когда они опадают, у него заостряется нос. Он вскидывается и вновь застывает. Несколько мгновений его натруженные жилистые руки спокойно лежат на красном одеяле, а потом он снова начинает кидаться.

Отец, поскрипывая сапогами, бегаёт из угла в угол. Отстукивают ходики — тик-так, тик-так.

Каждую минуту кто-нибудь со двора отворачивает простыню на окне и заглядывает в комнату. Вот морщинистое лицо Чечевички. Вот заглянула Рахиль. Но погребальщик Бенця гонит всех прочь.

Вдруг Ейна заявляет, что следовало бы помочь дедушке умереть, и велит мне принести топор.

Гляжу дедушке в лицо и вижу, что он умирает. И все же мне не плачется. Сунув руки в карманы, начинаю щипать себя, кусаю губы, пытаюсь вспомнить что-нибудь очень грустное, чтобы расплакаться. Но ничего на ум не приходит. И мне стыдно. Заворачиваюсь в дедушкино пальто, что висит у кровати, закрываю лицо руками и выглядываю оттуда. Я еще ни разу не видел, как приходит ангел смерти. Какой он из себя?

Но худенький, маленький служка подбегает ко мне и, погрозив пальцем, наказывает принести топор.

— Реб Эля, — кричит он отцу, — достаньте топор!.. Надо помочь умирающему!

Когда долго продолжается кончина, у нас прорубают дыру в потолке, чтобы ангел смерти мог поскорее явиться за душой.

Отец таращит глаза и не понимает, чего они от него хотят. Но Бенця уже сам достал где-то топор и зовет с собой служку.

Какой-то сосед снял лампу с крючка и, встав у порога, светит им. Слышно, как служка и погребальщик стучат сапогами по чердаку.

Вскоре на потолок, как раз над дедушкой, с треском разлетается штукатурка, и куски ее падают на кровать; белая пыль сыплется дедушке в глаза, в раскрытый рот.

— Перестаньте! — кричу я в беспамятстве.

Отец, как видно, только теперь заметил меня и приказывает выйти. Я не сержусь на него и не сопротивляюсь. Мне только странно и страшно. С бьющимся сердцем я выбегаю во двор.

— Ошер! — зовет меня кто-то, и чьи-то руки ложатся мне на плечи.

От неожиданности отскакиваю в сторону.

— Это я, — говорит Рахиль.

Из соседского окна на нее ложится красноватая по-

доска света. Она стоит потупившись и, не переставая, мнет свою белую юбочку.

— Я жду тебя. Голда сказала, чтобы ты шел к ней, чтобы не ночевал дома.

Она оглядывается на соседские окна, потом в одну, в другую сторону улочки и подходит ко мне ближе.

— Ты плачешь? — спрашивает она.

Нет, я не плачу и ни капельки даже не хочется плакать. Но она напомнила мне, и на душе сразу стало тоскливо. К горлу подкатывается большущий комок, так что я не могу рта раскрыть, чтобы ей ответить. Так, не вымолвив ни слова, я выхожу со двора.

Уже поздно. На базарной площади под круглым стеклянным колпаком одиноко стоит деревянный фонарь. Время от времени кто-нибудь пересекает трепещущий светлый круг. Гуляющих уже не видно. Только под окнами у дедушки да возле наших дверей стоят кучками или сидят на завалинке соседи, пришедшие утешить родителей. Они оглядываются на меня и на Рахиль. Соседка Хая-Сора даже подходит и заглядывает нам в лица.

В другой раз мне было бы неловко. Я краснею, когда меня видят с Рахилью, и боюсь оставаться с ней наедине — мне нечего ей сказать. А я чувствую себя очень неважно, когда выгляжу дурачком. Но теперь меня не волнует то, что Хая-Сора видит меня с ней и что соседи глядят на нас. Мне даже безразлично, тут ли Рахиль или нет. Иду просто так, куда глаза глядят. И вовсе не к школе и не к Голде, а по шоссе, которое ведет на вокзал, к деревянному мосту через нашу речку.

Темная ночь — ни зги не видно. В небе ни звезды — все заволочено тучами. Душно. И, как всегда в знойную ночь, далекие зарницы время от времени полыхают на небе и на мгновение освещают церковь, шоссе, заросшие канавы у обочин, ясени и акации, застывшие по бокам дороги.

— Ошер! — тихо зовет меня Рахиль.

Я не отзываюсь и не оборачиваюсь. Слышу лишь ее шаги позади да шуршанье тонкой белой юбочки.

Она что-то говорит, утешает, и мне становится хорошо от ее лепета.

Какая-то сладостная дрожь проходит у меня по телу, когда она прикасается ко мне рукой, задевает плечом и спрашивает:

— Правда ведь, ты уже не огорчаешься?

Я вслушиваюсь в ее певучий умоляющий голосок. Мне кажется, что, если бы я сделал ей больно, она еще больше жалела бы меня. Поэтому-то я принимаюсь шагать еще быстрее, точно мне безразлично, идет она за мной или нет.

Местечко уже кончилось. Во время зарниц теперь выплывают белые стены и соломенные крыши крестьянских мазанок. Рахили уже, видимо, становится жутко. Чем дальше мы удаляемся от местечка, тем больше она старается не отставать от меня. Она даже схватила меня за руку.

— Ошер,— спрашивает она,— ты стоял возле него?

— Стоял.

— И умирать действительно страшно? — говорит она, вся дрожа.— Он кидается!

— Нет,— отвечаю я и прижимаю локтем ее руку,— не страшно. Я не буду кидаться. Я умру, как Ара и Велвел.

— Давай вернемся! Я боюсь!

— Нет, Рахиль, не надо бояться!

Я чувствую, как слезы наворачиваются у меня на глаза. Мне сейчас очень хорошо. Хорошо, что темно, что Рахиль не видит моего лица, и я ее не боюсь. Все хорошо! Меня до слез умиляет мычание коровы, трель соловья, кваканье лягушек.

Соловьи поют теперь круглые сутки. Их песни сливаются с шумом реки, которая катится меж камней и заросла осокой и лопухами, с лаем собак, с шуршанием верб, со всеми таинственными звуками ночи.

Мы уже на мосту. Темно, хоть глаз выколи, но я так хорошо знаю эти места, что даже в темноте вижу подмытые вербы и осины, меж которых еле-еле движется река, и кленовую рощу, где когда-то расстреляли нашего комиссара Велвела Ходоркова.

— Там,— показываю я рукой в темноту,— там погиб Велвел.

— Ошер... Я боюсь... Не надо говорить о покойниках...

— Ладно, не буду.

Я сажусь на перила моста, спиной к реке. Мне страшно, можно в темноте опрокинуться и упасть в воду. Но здесь Рахиль,— и я хочу выглядеть героем.

Рахиль стоит недалеко. Когда сверкнет молния, я вижу, как она держится за перила, покусывает свою косичку.

Где-то защелкал соловей. Издали отозвался другой. Их трели скользят, кружатся, катятся, как серебряные кольца, и расходятся в ночной темноте, точно круги по воде. Я вижу, что Рахиль встревожена этим пением.

Она подходит ко мне близко-близко и говорит почти шепотом, что ей холодно, и внезапно, схватив мои руки, кладет их себе на голову.

— Так, Ошерка!

Она впервые называет меня Ошеркой, гладит моими руками свои волосы и говорит, что очень любит, когда ей кладут руки на голову. Я дрожу и, еле касаясь, глажу ее мягкие косички и шелковую ленточку, вплетенную в волосы. Я боюсь даже пошевелинуться и слышу, как стучит у меня в висках.

— Рахилечка,— говорю я,— если хочешь, я тебе покажу соловьев.

Я обещаю прийти с ней сюда снова, рассказываю ей, что соловьи прячутся глубоко в ветвях и к ним нужно осторожно подкрадываться; что соловей — маленький, серенький, поет, вытянув шейку, подняв клювик, и в горле у него тогда быстро-быстро булькает что-то.

Она не отвечает мне, пойдет ли снова со мной сюда, но вдруг ни с того ни с сего начинает руками нащупывать мое лицо.

— Ошерка! — говорит она слабым умоляющим голоском.— Почему ты такой злой? Почему ты постоянно сердисься?.. А я не хочу, Ошерка!..

Я хочу сказать ей, что это неправда, но не говорю. Я тоже беру ее лицо в свои ладони. Я уже забыл про дедушку. И ничего теперь мне не нужно, ничего я не слышу. Не слышу даже, как смолкли соловушки, как притихли лягушки.

— Ой! — вздрогнув, шепчет Рахиль.— Кажется, дождь.

Но никакого дождя нет. Просто капля упала на лоб. Однако мрак стал гуще, кругом как-то беспокойней. Верб у моста сильнее застучали листьями. Поднялся ветер. Откуда-то издали, точно телега проехала по мосту, прокатился легкий гром, потом он приблизился, поднялся выше и вдруг рассыпался на множество-множество падающих кусочков.

В ужасе прислушиваюсь, как гром закатывается куда-то вдаль, но не хочу, чтобы Рахиль думала, что

я испугался. Поэтому очень медленно, как бы нехотя, начинаю сползать с перил и разговариваю громко, весело. Я говорю, что все это чепуха, что мы еще успеем дойти до дому.

Однако не успел я договорить это, как над самым мостом сверкнула кривая молния. Я заметил трепещущий белый рукав Рахили на моей черной рубашке. Волосы ее вдруг взметнулись и хлестнули меня по лицу.

Я еще не пришел в себя от молнии, еще глаза были полны огненных кругов, как прогрехотал гром. Он становился все громче, расходился все шире и охватил уже всю бесконечную темень. От силы и неожиданности раската я чуть не свалился в реку. Скрыть своего испуга от Рахили я уже не мог и, вскрикнув, присел к земле.

Гром точно взломал нависшую над нами тучу, капли дождя стали падать все чаще и крупней, и вот уже всюю пошел шумный ливень.

Бежать домой уже невозможно. Не размышляя, я тащу Рахиль за собой и, стараясь перекричать ливень и гром, приказываю:

— Под мост!

Быстро спускаемся к реке. Скользим, падаем, поднимаемся. Озаряемые огненными сполохами, ползем на четвереньках меж осокой и огромными лопухами. Рахиль держится за меня. Ежесекундно при блеске молнии вырисовывается и вновь пропадает река, камни у берега и обомшелые подгнившие подпоры моста.

Под ногами уже булькает вода,— так мы увязнем! Но, нащупав ногою камень и ухватившись одной рукой за мокрый, скользкий столб, я поддерживаю Рахиль.

Над головою по настилу барабанит отчаянный ливень. Каждое мгновение ярчайшие молнии, сопровождаемые сумасшедшим громом, освещают густые нити падающей воды, зеленую стену верб, среди которых несется разбушевавшаяся река. Все подмостье в огне: вот я даже заметил большую зеленую жабу, забравшуюся наверх, под самый настил.

— Ошер!..— Рахиль дрожит и крепко прижимается ко мне каждый раз, как прокатится гром или молния полоснет темноту.

Мне хочется, чтобы Рахиль не боялась, вероятно, поэтому мне самому становится не страшно. Я говорю ей,



что сейчас все пройдет и что я люблю грозу с громом и молнией.

— Хорошо! — кричу я ей в ухо и начинаю шлепать ногою по воде.

— Нет, Ошерка, боюсь!.. Нет-нет... не боюсь... — говорит она еле слышно, и глаза у нее полуоткрыты, и она, кажется, улыбается.

Но раз она такая слабенькая и ищет у меня защиты, я готов

для нее на все. Я хочу, чтобы гроза длилась бесконечно. Я укрываю еще сильнее ее головку, чтобы на нее не падали капли, пробирающиеся сквозь настил.

— Рахилечка! — пытаюсь я перекричать шум ливня и грохот грома.— Рахилечка! — умоляю я ее и показываю на молнию: — Где сейчас лучше, здесь или дома?

Но она, видно, не расслышала меня из-за грома, прокатившегося из конца в конец и точно камешками рассыпавшегося по железной крыше.

— Что, Ошерка?

Но я не хочу ее переспрашивать.

Дождь вдруг становится тише и вскоре совсем прекращается. Где-то далеко-далеко еще прокатывается последний гром. Гроза внезапно налетела и внезапно прекратилась. Лишь скопившаяся на мосту вода все еще льется сквозь щели настила. Тучи уже, по-видимому, расходятся. Видны мокрые подпоры моста и слившиеся в сплошную массу вербы. Сердце начинает вдруг безумно колотиться, дрожь охватывает всего, когда я замечаю рядом выступившую из темноты белую березку.

— Ошер! — вскрикивает Рахиль.— Ошер! — Ее глаза полуоткрыты и, кажется, в них стоят слезы.— Соловьи поют! — говорит она.— Ты слышишь, соловьи!

Рассыпаясь серебряными колечками, заливиство свистят соловьи. Теперь их много. Заввакали и лягушки — сначала одна, другая, потом они уже слышны всюду.

Я прижимаюсь изо всех сил к холодному замшелому столбу. Уже светло. Рахиль может разглядеть мое лицо. А мне не хочется, чтобы она прочитала на нем страх.

— Идем! — говорю я и, подав ей руку, помогаю выбраться на шоссе.

А на дороге мы оба начинаем хохотать. Мы насквозь промокли, вода течет с нас ручьем. Рахиль начинает весело повизгивать и вертеться. Ей не хочется, чтобы я видел, как она отдирает свою коротенькую белую юбочку, которая прилипла к ее тоненькому телу.

От этого мне становится и сладко и страшно. Принимаюсь разглядывать разорванные тучки, куски очистившегося голубого неба. У самого края его висит продолговатое белое облако с пламенеющими нежными краями.

— Ошерка, — зовет меня Рахиль, — мне холодно! — И лицо ее розовеет от этого облачка.

— Тогда побежим! — Сбросив башмаки и закатав штаны, я жду ее. — Бежим, станет теплее!

Рахиль тоже разулась. Она бежит и все старается отодрать прилипшую юбку. Ее распутившиеся волосы хлещут меня по лицу. Мне весело, я разбрызгиваю вокруг себя жидкую грязь. Я весь измазан, а ее белое платье стало рябым.

Добежав до местечка и еле отдышавшись, мы берем друг друга за руки. Здесь бежать неудобно, могут увидеть. Правда, местечко еще спит. Только на базаре горит фонарь, больше нигде не видно света.

Останавливаюсь у нашего дома. Рахиль говорит, что ей страшно одной идти дальше, хотя она живет совсем по соседству.

— Зови меня!.. Кричи «Рахиль»! И я не буду бояться.

— Рахиль! — кричу я. — Не бойся!

— Еще нет! — доносится до меня тонкий голосок.

— Рахиль! — кричу я снова, приложив рупором руки ко рту.

— Уже скоро! — отвечает она.

Внезапно открывается окошко, и я в испуге отскакиваю в сторону.

— Ошер! — говорит охрипшим голосом мама. Волосы у нее всклокочены. Она некоторое время смотрит на меня и вдруг начинает плакать.

Я встаю на завалинку и смотрю в комнату. Там на полу, вытянувшись во всю длину, лежит дедушка. Он по-

крыт простыней. Подбородок его подвязан красным платком, и узлы торчат на голове, как два рожка.

У его изголовья горят свечи. Пламя колеблется. Вместе с тенью покачивается и маленький худой служака. Он жалостливым голосом читает молитву.

Меня кидает в дрожь, но не от его причитаний и не от горящих свечей: залатанные дедушкины сапоги, как всегда, стоят у него под кроватью, начищенные до блеска.

В ПАРТКОМЕ

Голда и Бечек уже несколько раз напоминали мне об Ищенко. Но я не знаком с секретарем партийного комитета и мне как-то неловко к нему идти. Но вот после похорон дедушки я окончательно собрался.

Иду и думаю о дедушке. Когда он был жив, мы как будто не очень были дружны. Но теперь я никак не привыкну к мысли, что его нет. Мне странно, что дедушка, который так долго жил и трудился, который столько рассказывал мне о царях и стражниках, вдруг куда-то исчез, и я его никогда больше не увижу. Да и не только его — многих других, которые ушли от нас далеко-далеко. Мне очень тяжело и горько. Открываю хорошо знакомую дверь в партком, где когда-то, во времена Вел-вела, я проводил целые дни.

В парткоме, как это всегда бывает, полы потертые, на них даже образовались ямочки от множества прошедших здесь ног. Недавно побеленные стены полны неровностей из-за плохо снятой старой штукатурки, из-за плакатов и объявлений, которые когда-то висели тут.

Теперь здесь не так, как раньше, — все на месте, все прибрано. В большой передней аккуратно стоят деревянные скамьи. Красные полотнища и плакаты заботливо развешаны по стенам.

На скамье около белой двери с надписью «Секретарь партийного комитета» уже не толкуются, как прежде. Посетители сидят спокойно. Мужеподобная стриженная женщина в шапке, не переставая, курит и все перекладывает какие-то бумаги на столе. Она вздрагивает каждый раз, когда Ищенко за дверью стучит кулаком по столу и кричит на кого-то: «Чинуша!.. Безобразия!»

Однако мне странно, что Ищенко кричит. Еще недавно дядя Менаше, который переплетает для него книги, говорил, что сейчас трудно встретить такого вежливого, обходительного человека, как Ищенко. Все местечко любит его, потому что он справедливый и добрый, и что бы с кем ни случилось, все бегут к нему.

Внезапно раскрывается дверь, и из нее начинает высовываться человек, на которого, по-видимому, Ищенко только что кричал. Сначала показывается согнутая спина, потом высовываются заросшая шея и плешивая голова, которая не перестает кланяться. Человек наступает мне на ногу, оборачивается и говорит «извините». Я узнаю — начальника почты. Он прижимает к груди синюю фуражку с черным бархатным околышем и с молоточками. Весь красный от смущения, он наконец выбегает из парткома.

Я тут же врываюсь в кабинет. Мужеподобная женщина пытается меня задержать, она кричит, что там еще сидят люди и входить нельзя. Но я не обращаю на нее внимания.

Ищенко мрачен, он даже не оборачивается, когда я появляюсь. У него действительно кто-то сидит. Оказывается, это Каминер. Они говорят о каких-то кожевенных заводах, о земле, о стульях, а в общем разговор идет о том, как устроить на работу наших бедняков, которым жить не на что. Облокотившись о стол, поминутно ероша свои волосы цвета кукурузной метелки, Ищенко подсчитывает:

— На заготовительный пункт — три семьи, на деревообделочный — двадцать, на вокзал — две. Итого двадцать пять.

— А может быть, нам пока не закрывать кожевенных заводиков? — говорит Бечек. — Около тридцати кожевенников останутся без работы. — Впервые вижу, чтобы Бечек был так расстроен. Множество морщинок появляется вокруг его черных сощуренных глаз. — Только на время!.. Я думаю, может, немного подождать...

— Тебе не председателем быть, а в богадельне...

— В богадельне!.. — радостно вскрикивает Бечек. — В бывшей богадельне, товарищ Ищенко, есть семь десятин земли!..

— А ради извозчиков, — не слушает его Ищенко, — проси, чтобы закрыли вокзал; ради лавочников — кооперацию...

— А в кооперации, — воодушевляется Бечек, — можно устроить две семьи.

— Значит, у нас уже двадцать семь.

— А как насчет земли, что в богадельне?

— Замечательно! — говорит Ищенко. Он поднимает к Бечеку свое широкое открытое лицо, и его синие глаза опять глядят дружелюбно. — Стало быть, мы имеем работу для тридцати семей.

Поднявшись, Ищенко повторяет, что нужно в первую очередь взяться за фабрику, но не успевает кончить, как замечает меня.

— Ко мне? — удивляется он.

— Да. Вы меня звали.

Бечек оборачивается. Только что, когда разговор шел о стульях, он был весел, а увидев меня, вдруг мрачнеет почему-то. Ему, видно, неприятно, что я слышал, как его бранили.

— Я звал? — переспрашивает Ищенко.

— Да... Товарищ Ходоркова сказала... Товарищ Каминер... — показываю я на Бечека.

— Вы его вызывали, товарищ Ищенко, — подтверждает Бечек. — Это Ошер.

— А-а? Так это ты Ошер? — весело вскрикивает Ищенко. — Что же ты молчишь?

У Бечека становятся большие глаза.

— Герой! — кричит Ищенко. — Герой! — и предлагает сесть.

Смущенный, сажусь и точно падаю в колодец. Какой-то странный стул — низкий, широкий, мягкий. Я в нем утонул и вижу только лоб Ищенко и его русые волосы. Под столом замечаю еще полосатые брюки и ноги в желтых сандалиях.

— Где ты там? — спрашивает Ищенко, перегибаясь через стол. — Отчего я тебя раньше не знал?

— А я вас знаю, — задираю я к нему голову.

— А если знаешь, — говорит он полуулыбкой, — почему не приходил? Это ты мосты взрываешь?



— Какие мосты? — вздрагиваю я и еще глубже опускаюсь в кресло. Я чувствую, что покраснел до самых ушей. Удрать, поскорее удрать! Откуда он знает, что мы с Рахилью были под мостом? — Шел дождь... — бормочу я и опускаю глаза. — Гром гремел... Она спустилась со мною под мост...

— Кто — она? Разве с тобой была девочка? — Ищенко пытается посмотреть мне в лицо, но я отворачиваюсь.

— Да. Рахиль... Была гроза...

— Какая Рахиль? — Ищенко пожимает плечами и выпячивает губу. — Что такое он говорит?

Бечек наклоняется к Ищенко и шепчет ему на ухо:

— Он расстроен. У него дедушка умер. — Затем, видимо, желая успокоить меня, он ласково спрашивает: — Ты с кладбища, Ошер?

— С похорон. — Я ухватываюсь за смерть дедушки, как утопающий за соломинку. — И на могиле Велвела... и у Ары был.

— Ага! — Бечек расстегивает пиджак, и я замечаю под растрепанной подкладкой в боковом кармане браунинг. — Был на могиле Велвела?

Ищенко подходит ближе и, положив мне руку на плечо, говорит, что дедушка у меня уже старенький и довольно мне тужить. Затем рассказывает, что в городе на партконференции он встретился со своим приятелем из Василькова.

— Он тебе, Ошер, передал привет. Его зовут Магид.

— Магид? — вскрикиваю я. — Магид!.. — И вся печаль, все смущение мое мгновенно исчезают.

— Да, Магид. Он мне рассказал, как вы взорвали железнодорожный мост.

— Ты? Ты взорвал мост? — восклицает ошеломленный Каминер.

— Мост... — повторяю я за Бечеком, хотя все еще не понимаю, чего от меня хотят. Наконец, спохватившись, говорю: — Это Магид. Я только вертел катушку — и мост взорвался.

— Да, я знаю, — говорит Ищенко. — Ты ведь тогда маленький был. Сколько тебе было?

— Десять лет! — кричу я. — И немцы взлетели. Кругом рвалось. И мы обнялись с Магидом.

Я уже не могу остановиться. Не переводя дыхания

я кричу, что люблю Магид, что хочу быть таким, как он, таким, как Ходорков, как мой брат Ара.

— Конечно. А может быть, и больше Магид! — говорит Ищенко.

Я пододвигаюсь ближе к нему и говорю:

— Вот только кончу школу — тоже стану таким, как они. А если не будет войны, я буду работать. Мне очень хочется стать рабочим. Скорей бы уж кончить школу!

— Значит, ты хочешь стать рабочим? — переспрашивает Ищенко, поглядывая на меня.

— Очень!

— А сколько тебе лет?

— Четырнадцать! — говорю я и не гляжу Ищенко в глаза, потому что мне только немногим больше тринадцати.

— А если тебе сейчас дадут работу, пойдешь?

— Конечно! Сию минуту!

— Слушай, Каминер, — улыбаясь, говорит он Бечеку, — из этой старой калоши, кажется, ничего не выйдет. Может быть... Как ты думаешь? Эти парни могут горы свернуть.

Не знаю, о чем Ищенко спрашивает у Бечека, но чувствую, что это имеет какое-то отношение ко мне, и не спускаю глаз с Бечека.

Бечек мнетя, поглядывает на Ищенко. У меня начинает сильно колотиться сердце.

Каминер говорит, что у моего отца работа есть. Но все же это было бы полезно.

— Слышишь? — обращается ко мне Ищенко.

— Слышу.

— Но работа эта важная! — говорит Ищенко и грозит мне пальцем.

— Важная, — повторяю я за ним, и у меня захватывает дыхание.

— Пошлем тебя на почту, распространять газеты.

— Газеты... — восклицаю я, и мне уже не сидится на месте.

Я выхожу вместе с Бечеком. Он берет меня под руку. Уже выйдя на лестницу, я вспоминаю, что не попрощался. Вырываюсь и мчусь обратно. Распахнув изо всей силы дверь кабинета так, что мужеподобная женщина отскакивает в сторону, я кричу на весь партком:

— До свиданья, товарищ Ищенко!

— Что? — не понимает он.
— До свиданья! — повторяю я снова и удираю.
Потом я догоняю Бечека, и он заявляет:

— Я всегда говорил, что из тебя выйдет толк,
Бечек принимается мне что-то говорить про стулья,
но я ничего не понимаю. Мне хочется говорить, кричать,
беситься, но я сдерживаю себя: не хочу, чтобы Бечек
посчитал меня мальчишкой. Я совсем забыл, что умер
дедушка и мне нельзя веселиться. Отец с матерью уже
отсидживают траурную седмицу.

Прощаясь с Бечеком, говорю ему, что мне надо до-
мой. Но в дом я не захожу, хоть и очень голоден. Беру
у лавочника в долг медовых пряников — всяких лоша-
док, птичек, кошечек — и потихоньку, чтобы не скрипнула
дверь, вхожу в наш сарай, оттуда забираюсь на чердак
и там принимаюсь на соломе прыгать как бешеный.
Но чердак у нас выложен досками редко, и я чуть не
вывихнул себе ногу.

Напрыгавшись, я валюсь на солому; пожевывая пря-
ники, гляжу на пыльные лучи, пробирающиеся сквозь
дырявую кровлю, и хохочу, хохочу так, что в конце кон-
цов пряник застревает у меня в глотке.

РАБОТА

Прошло целых три дня, пока я получил в профсоюзе
направление на работу в почтовой конторе.

Красный каменный домик почты стоит в самом конце
базарной площади. Толстая телеграфная проволока на
высоких, стройных столбах, шагающих откуда-то изда-
лека, здесь обрывается. Хоть я уже взрослый, все ж могу
часами стоять, приложив ухо к телеграфному столбу,
и слушать, как гудят провода, идущие к нам из боль-
шого, далекого и незнакомого мира.

На почту я всегда вхожу на цыпочках. Я могу здесь
простоять бог знает сколько и смотреть сквозь прово-
лочную сетку, как начальник почты Дударев штемпелует
письма, поднимает и опускает ручку сверкающего теле-
графного аппарата, и как этот аппарат, постукивая,
чертит точки и тире на узенькой бумажной ленте.

С еще большим трепетом, чем обычно, подошел я

к открытому окошечку сегодня. Посмотрев вокруг себя
и набравшись смелости, я сказал, подавая направление
из профсоюза:

— Товарищ начальник.
— Сейчас.

Дударев лениво взял бумажку и, нацепив очки на
мясистый нос с бородавкой, принялся разглядывать
меня. Сквозь очки его глаза кажутся мне огромными.
Потом, опустив голову и наморщив лоб, он стал читать.
На шее, у жесткого белого воротничка, собралась уйма
складок, щеки обвисли, как у старого мопса, и это при-
дало начальнику почти значительный вид.

— Просим! — сказал он вдруг, поднялся и, разгла-
див густые усы, плотно прикрывающие рот, распахнул
дверку в проволочной перегородке. — От Ищенко?

— От Ищенко.

— Пожалуйста! — Он поклонился и представился: —
Дударев Вадим Николаевич. — При этом он подал мне
руку и, улыбаясь, повел к себе.

Я немного смутился. Мне непонятно, зачем он назвал
свою фамилию, имя и отчество.

— Я знаю вас, — ответил я и тоже поклонился, одна-
ко глаза опустил, так как посетители за перегородкой
принялись глазеть на нас.

— А вас как зовут?

Впервые меня называют на «вы».

— Ваше имя? — настаивает Дударев.

— Ошер.

— А отчество?

— Элевич.

— Ошер Ильич, значит! — И он усаживает меня.

Но сижу я как на иголках.

— Меня зовут Ошер, — повторяю я.

— Очень рад, Ошер Ильич. — И он заявляет, что ему
очень приятно работать с нынешней молодежью.

— Очень... — говорю и я. — Мне тоже приятно рабо-
тать с молодежью.

— Как, как? — не понял он.

Хорошо, что кто-то постучал в окошечко. Начальник
крикнул посетителю «сейчас», а мне сказал «извините»,
хотя ничего худого мне не сделал. Но к окошечку он
так и не подошел, а стал подавать мне квитанционные
книжки, ценники на газеты и плакаты.

Шаркая ногами, кланяясь и качая головой, я поспешил сказать ему «до свиданья», так как за перегородкой уже стали ворчать. Кто-то даже крикнул, что совершенно недопустимо, чтобы из-за меня всем приходилось столько ждать.

Покинув почту, я снова почувствовал себя отлично. Я уселся на крылечке, уложил плакаты и квитанции, затем, сунув все это под мышку, не спеша, ровным шагом, как Дударев, когда он по воскресеньям возвращается из церкви, двинулся в самую гущу базара.

Когда я чувствую себя хорошо, мне всегда хочется смеяться. Поэтому я и теперь улыбался каждому встречному, держа, конечно, свои бумаги у всех на виду.

Прежде всего я заглянул в аптеку. Она как раз напротив милиции. Я очень люблю аптеку. Было время — я мог часами простаивать на улице и разглядывать красные, желтые, зеленые стекла крашеной веранды, блестящий никелированный замок, синюю стеклянную ручку и звонок на двери.

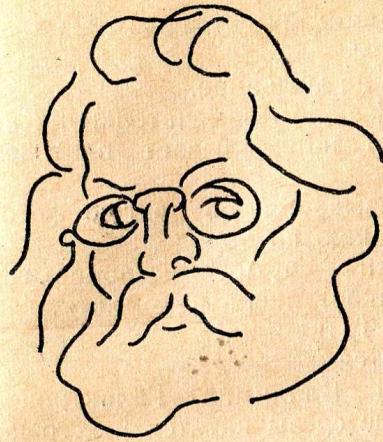
Аптека мне хорошо знакома. Мать частенько посылала меня сюда. Я не однажды бывал в этом красивом помещении, заставленном полированными шкафами, где полно фарфоровых и стеклянных банок, бутылочек, чашек. Не раз дожидался я здесь изготовления лекарств по рецепту. Даже теперь у меня вызывают грусть хорошо знакомые запахи йода, хлороформа, всяких мазей; они напоминают мне о раненых красноармейцах, о тифе, инфлюэнции, «испанке».

Но лучше всего я знаю сад аптекаря. С закрытыми глазами укажу я, где растет у них «боровинка», где «цыганка» или «ранет», где «бэра» или «лека».

Из-за «лек» жена аптекаря однажды отстегала меня крапивой. Очень уж хороши эти груши! Скверно только, что растут они высоко и можно свернуть себе шею, пока до них доберешься.

Аптекарь накричал тогда на жену. Он взял меня на руки, внес в аптеку и дал мне несколько «боровинок». С тех пор я к нему частенько забегаю, но он все забывает мое имя и каждый раз спрашивает, как меня зовут. Все же он мне нравится. А Голда даже говорит, что лицом он немного смахивает на Карла Маркса.

Все-таки наш аптекарь какой-то чудаковатый: всегда в глубоких калошах, в каком-то женском одеянии без



рукавов и без застёжек. На собрание он может появиться в шляпе под зонтиком. Однако именно благодаря ему все местечко знает писателя Короленко, даже моя мама, которая вообще ничего не читает, кроме «Пятикнижия для женщин». Аптекарь любит рассказывать всем, как он учился вместе с Короленко в гимназии.

Так как аптекарь уже старик, я не могу назвать его «товарищ Грузенберг», поэтому, заявляясь к нему, говорю:

— Здравствуй, Грузенберг!

— Прощу! — Он подходит к красной полированной перегородке. — Что вы хотели? — спрашивает он по-немецки и покорно наклоняет свою большую голову с густой гривой волос, зачесанных назад. Его круглая белая борода на мгновение щекочет мне лицо. Он надевает пенсне, которое болтается у него на черном шнурке.

— Газеты! — говорю я и показываю на квитанционную книжку. — Не подпишетесь ли на газету?

— О-о, пожалуйста!

Он приглашает меня к себе за перегородку, затем раскрывает зеркальную дверь, ведущую в квартиру, и быстро-быстро семенит впереди меня в своих шлепанцах. У него какие-то коротышки вместо ног. Штаны волочатся по полу и вот-вот свалятся.

Я спешу за ним на цыпочках и в кабинете у него присаживаюсь на краешек стула.

— Ох! — вырывается у меня крик удивления при виде больших книжных шкафов и фотографий на стенах. На фотографиях — люди с большими светлыми лбами и белыми бородами. У одного борода покороче и не седая, а глаза тихие, добрые.

— Это Короленко? — спрашиваю я.

— Вы читали Короленко? — откликается аптекарь и откладывает в сторону какой-то рецепт.

— «Слепой музыкант»...

— «Слепого музыканта» читали? — Он выхватывает носовой платочек. — Чей же вы?

— Сын Эли, что работает на мельнице.

— Ах, Эли с мельницы! Как это замечательно! Как трогательно! — говорит он и прикладывает платочек к глазам.

— А это Толстой! — показываю я на другую фотографию. Толстого я всегда узнаю по бороде.

— И Толстого тоже читали? — чуть ли не подпрыгивает он. — Татьяна! — Он толкает дверь в комнату, где висит лампа под абажуром. — Татьяна-я-на!

Никто, однако, не отзывается.

— Ох-ох-ох, незабвенный Владимир Галактионович! — вздыхает он, и крупные слезы катятся у него по бороде. — Незабвенный! — Он прижимает платок к глазам. — Как мы жаждали с Владимиром Галактионовичем увидеть вот такую молодежь! — Он прикладывает руку к сердцу, и голос у него дрожит. — Незабвенный! — Он выхватывает письмо из ящика. — Последнее его письмо из Полтавы... — И аптекарь обливается слезами.

Не пойму, отчего он плачет, и еле сдерживаюсь, чтобы не разреветься за компанию.

— А Чарлза Дарвина вы тоже знаете? — показывает он мне на старичка с бородой.

Этого я не знаю. Я думал, что это тоже Толстой.

— Гениальный Дарвин! А это Геккель. Эрнст Геккель. Его всемирно известная «Антропогенез»...

Он подходит к шкафам. Но они закрыты. Тогда он хватается за голову, ерошит волосы и кричит:

— Татьяна! Боже мой! Где ключи?

Но ключи, оказывается, торчат в шкафах. Дрожащими руками открывает он дверцы.

— Бокль, Генри Томас. — Он начинает вытаскивать книги и класть их предо мной на стол. — Великолепная «История цивилизации»... Спенсер. Читайте, читайте! — Он заваливает меня книгами. — Замечательная Жорж Санд... Ключевский... — Глаза его горят. Он возбужден, взволнован. — Неистовый Виссарион... Одухотворенный Михайловский... — Он подает мне книгу с пуд весом.

— Наум Григорьевич! — кричит жена, и у входной двери в аптеку дребезжит звонок.

— О боже! — вздрагивает он. — Белинский! Читайте Белинского!

Я уже еле могу держать эту кучу книг.

— Извините!

Волоча свои шлепанцы, он убегает в аптеку.

Когда я вхожу вслед за ним туда, он стоит у конторки рядом с женой и принимает рецепт у какой-то крестьянки.

— Татьяна, они читают Спенсера... Как мы ждали, когда наступит такое время!.. Одухотворенное юношество!..

Жена аптекаря тоже утирает глаза. Аптекарь успокаивает ее и подписывается на «Известия». А меня он умоляет:

— Читайте! Просвещайтесь! — Затем, пожимая мне руку, снова восклицает: — Как трогательна эта молодежь!

В замешательстве я даже забыл выдать ему квитанцию. Выхожу на улицу. Иду медленно-медленно, чтобы не потерять какую-нибудь книгу.

Тихо, чтобы мама не услышала, я просовываю книги через окно, затем, счастливый, шагаю по базару между рядами лавчонок и рундуков.

Говорю «здравствуйте» отцу Сролика — Вениамину, который, встречая у дороги приезжих, так просто, по привычке шупает привезенное в возах и спрашивает: «Почем?» Он уже прикрыл лавочку. Пожевывая соломинку и вздыхая, он говорит, что газеты ему не по карману, и все же подписывается на «Эмес»¹.

Он смотрит, как я выписываю квитанцию, и на лице его появляется плаксивая гримаса:

— Ошер, ничего не слышно?

— А что должно быть слышно? — Я поднимаю глаза и вижу вокруг себя целую ораву лавочников.

— Что-нибудь новое... Я подразумеваю, — говорит Вениамин, — войдут ли в положение? Поговаривают, что землю будут давать?..

— Люди что-то болтают насчет фабрики? — говорит кто-то из обступивших меня.

Я ощущаю себя вдруг важной персоной, потому что впервые со мною так разговаривают старшие.

¹ «Эмес» — еврейская советская газета, выходившая в Москве после революции.

— Будут изготавливать стулья...— говорю я.— И всем дадут работу.

— А землю?

— Конечно, и землю! — кричу я, хотя ничего об этом не знаю.

— Это что же, в газетах написано?

— В газетах,— отвечаю я.— Выписывайте, и у вас откроются глаза! — Я размахиваю квитанционной книжкой.— Семьдесят пять копеек — «Эмес», пятьдесят — «Знамя коммуны»!

Но я не пойму, что случилось? Как только я заговорил о подписной плате, все сразу разбежались.

Уйду уж лучше отсюда. Не стоит иметь дело с лавочниками.

У председателя Совета Каминера сидит хозяин кожевенного завода Меер Калун. Терпеть его не могу. Это один из самых разжиревших богатеев.

Бечек сидит, опершись о стол, точно как Ищенко, когда я у него был в кабинете. Окно завешено от солнца газетой. От этого лицо председателя Совета темней и кажется еще более нахмуренным. Бечек подпер голову руками, и фуражка у него, как обычно, надвинута до самых глаз. Он так поглядывает из-под козырька на Калуну, что тот робеет и говорит еле слышно:

— Честное слово, товарищ председатель! — и пощипывает короткую круглую седеющую бородку.

Он клянется, что ему не жалко завода: пожалуйста, пусть люди выделяют там стулья и пусть зарабатывают себе на жизнь. И даже налог его не трогает. Пожалуйста! Он хотел бы только знать, почему с него требуют больше, чем с других: чем, например, с Рабиновича или с Троковичера, которые сейчас загребают золото прямо-таки лопатами.

Каминер морщится, и по его остановившимся глазам я вижу, что он сейчас очень сердит.

— Эх, Меерка! — говорит он тихо.— Если бы я не был председателем...— Каминер начинает потирать руки, его худое лицо становится мрачным, глаза злыми.— ...Если б я не был председателем, я б тебе, по крайней мере, плюнул в лицо... Ремесленники дышат с голоду, а вы все жиреете и жиреете.

Калун от изумления раскрывает рот и быстро исчезает.

— Ну, Ошер, а у тебя как дела? — спрашивает после этого Бечек.

— Ничего,— говорю я, уставясь в пол.

— Ничего? — Он поднимает голову.— Узнаю это по твоей мордашке.

— Нет,— говорю я,— это ничего... Я был...

— Хотя немного подписались?

— Подписались. Но мало.

— А на мельнице ты был?

— Нет еще.

— То есть как это — нет еще? Вероятно, ты ищешь подписчиков среди буржуев... Рабочие, рабочие — вот кто самый главный читатель и подписчик!

Дважды мне повторять не приходится, я уже мчусь на мельницу.

Не спеша спускаюсь с горы. Позади меня остаются бойня и наш Совет. В сонной полуденной тиши слышно, как на реке бьют вальком по белью: красный ситцевый платочек прачки поднимется и опустится среди кустов; нырнут головами в воду гуси, и тогда белые пятна мелькнут среди желтых кувшинок и сероватых верб.

Вот уже начинаются закоулки ремесленников. Обычно здесь гром кузнечных молотов, стук бондарни, стрекотанье швейной машинки, шорохи и шумы столярной мастерской смешиваются с блеяньем козы, взвизгиванием ребенка и песней швеи. Но сейчас здесь тихо: у ремесленников нет работы.

По качающимся мосткам перехожу реку и крестьянской слободой поднимаюсь к мельнице. Густые сады с двух сторон сливаются надо мной сплошным сводом. Из-за разросшейся вишни и калины чуть выглядывают белые мазанки. А там вдали встает трехэтажное здание мельницы.

Гул мельницы всегда приводил меня в трепет. Когда мать посылала меня с едой к отцу, это было для меня самым большим праздником. Взбудораженный, сгорая от любопытства, поднимался я наверх и долго разглядывал там приводные ремни, вращающие вальцы, лампочки, горящие без фитиля и керосина.

Поэтому-то я так завидовал всегда Зяме, который учится здесь на машиниста. Но теперь и я работаю.

— Зяма!

Я вбегаю к нему в машинное отделение и хвастаю тем, что Ищенко дал мне работу; что у нас на почте тоже есть машина, только маленькая, телеграфная, и она тоже стучит.

Зяма стоит предо мной в мучной пыли, с засученными до локтя рукавами, и фуражка у него козырьком на затылке. Он стал почти взрослым.

— Руку!

Он приветствует меня и сжимает мне пальцы изо всех сил, но я не поддаюсь. Я тоже не из слабеньких.

— Подпишись на газету! — Я стараюсь перекричать стук двух газогенераторов, шум динамо и низкий басовый гуд двигателя.

— Подожди, Ошер! — Схватив жестяной чайник с длинным узким носиком, он принимается лить масло в машину, а потом обтирает это место тряпкой.

Вокруг чисто, красиво. Пол выстлан четырехугольными цветными плитками.

— Давай! — Он обтирает руки о штаны, затем локтем проводит по лицу, блестящему от пота. Весело сверкают зубы необычайной белизны.

— Давай мне «Молодняк»! — Зяма вынимает кошелёк и небрежно дает мне рубль, как будто это для него пустяк.

Закурив папироску, он пускает кольцами дым. Затем мы оба решаем прихватить Булю и сегодня же вечером отправиться в пивную, выпить по кружке пива.

Но Зяме нельзя со мной долго болтать: ему нужно следить за машиной. Да и я занят.

Перепрыгивая через несколько ступенек сразу, взбегаю на широкое крыльцо мельницы, потом пробираюсь мимо крестьян, которые, стараясь перекричать друг друга, снуют вверх и вниз, неся мешки с зерном, мукой или отрубями.

Все здесь бело. Мука запорошила даже огромные мельничные окна. Поэтому здесь постоянно горит электричество. Точно большие виноградины, висят сияющие лампочки под запыленным и затканым паутиной потолком. Они раскачиваются и дрожат от стремительного бега валов и многочисленных приводных ремней.

— Газеты! — ору я на всю мельницу. — Товарищ Полевой! — обращаюсь я к Мейлаху, высокому, худому

председателю союза «Пищевкус». — Ищенко и Каминер наказали, чтобы вы подписались на газеты.

— Как?

— Каминер велел, чтобы все рабочие подписались на газету!

— Чего ты кричишь? — отвечает он сердито и останавливает свои вальцы. — На свою бабушку кричи! Я и без твоего Бечека знаю, что мне делать.

Он страшно не любит, когда его учат. Ведь Мейлах и сам как-никак председатель.

— Пойдем! — Он направляется со мной к столику приемщика, который стоит у самого входа, и берет лист бумаги. — На!

— Какую газету?

— «Труд»... Пиши: Шефтель Нефтик.

Но приемщик Нефтик заявляет, что он плохо видит.

— купишь очки! — осаживает его Мейлах. — Дай ему газету с крупным шрифтом.

— «Знамя коммуны»?

— Замечательно!

— Афанасенко Василь! — кричит Мейлах.

— Что такое? — подбегает Василь.

— Дай ему дешевую газету с большими буквами!

— «Незаможник»?

— «Рабочую газету»! — кричит Василь.

— Дай «Рабочую газету»! — повторяет Мейлах.

Подбегают еще рабочие.

«Генох Шрайбман... Дорфман... Зозуля...» — беспрерывно записываю я.

— Пулькес Эля! Эля, сынок твой пришел!

— Сейчас, — отвечает отец, который подтаскивает мешок к вальцам. Он поворачивает к нам свою длинную бороду. Лицо у него около глаз налилось кровью, вены на лбу вздулись, мышцы на оголенных руках напряжены.

— В чем дело? — спрашивает он.

— Подпишись на газету у сына!

— Возьми «Эмес»! — кричу я отцу.

— Пусть будет «Эмес».

Подходят еще рабочие. Залман Козан, который уже очень стар, удивленно почмокивая губами, допытывается у отца, сколько мне лет.

Залман Козан... Цодек Каменштейн... Филипп Боровчук... Давид Бершадский... Владислав Прошма...

Едва я кончаю запись, Мейлах сразу же предлагает мне идти в контору.

Уже спускаясь вниз, я оборачиваюсь к отцу и вижу, как он стоит, одинокий, у шумящих вальцов. Он даже не замечает, что мука из желобка сыплется на землю, а отруби переполнили мешок. Он стоит весь белый, длинный передник с лямками на плечах делает его выше и каким-то необычным. Над ним мелькают ремни трансмиссии. В солнечном луче, проникшем сквозь обрешеченное окно, плывут вокруг него тысячи тысяч пылинок. Электрическая лампочка накрыла его красноватым световым коллаком. Тень от отца, длинная, изломанная, легла на стену и на кусок потолка.

Отец не шевелится. Правой рукой он свивает бороду и тихонько пожевывает ее. Его глубоко впавшие глаза глядят на меня задумчиво и счастливо. От удивления я даже хватаюсь за перила.

— Папа! Мука сыплется! — показываю я на вальцы.

Он вздрагивает от моего крика, почему-то смущается и быстро уходит за новым мешком зерна.

В конторе меня встречает Мейлах и сообщает, что договорился о том, чтобы мне сейчас же уплатили за подписку. И действительно, толстый, страдающий астмой бухгалтер Трахтенберг, поминутно вытирая свою большую лысину, тотчас отсчитывает причитающиеся мне деньги.

Нохем Лейтес, бывший хозяин, а теперь арендатор мельницы, стоит посреди конторы ошеломленный. На нем длинный помятый сюртук, на ногах какие-то ошметки и порванные носки. Длинная разделенная надвое борода лежит на расстегнутой грязноватой рубашке. Впрочем, не только он один, все наши буржуи одеваются теперь оборванцами и не перестают стонать и жаловаться.

Лейтес кричит, что аренда приносит ему одни убытки.

— Пусть бы у профсоюза так болел живот, как он болит у меня из-за этой мельницы! — постоянно причитает он.

— Нохем Лейтес, выпишите газету?

— А деньги? Где мне взять деньги? — Он протягивает ко мне руки, и кажется, вот-вот заплачет. — Ведь ты уже взрослый, Ошер! Так пойми же: ученики (он имеет в виду Зяму и других) пьют из меня кровь! А налоги? — Он

начинает загибать на руке пальцы: — Налог на культуру — это раз; подоходный — это два; просто так налог — это три; соцстрах — четыре; аренда — пять; каждый раз какой-нибудь штраф — это шесть; листок — это тебе семь; ремонт и еще всякое другое — это восемь. А самому ведь тоже надо кушать! — вскрикивает он и начинает кашлять. — А теперь еще новый налог — газеты.

— Кто вас принуждает? — кричит на него бухгалтер. — Не мешайте мне работать!

— Боже мой, с ума можно сойти! — Лейтес падает на табуретку и срывает с себя шапку. — Живьем поедаю! Что творится на белом свете?!

Но я его и слушать не хочу. Выхожу из конторы и узкой тропкой направляюсь прямо к Голде. Иду полем, потому что так ближе.

До жатвы еще далеко, и в поле никого нет. Только жаворонок висит, как на веревочке, над хлебами да обычно пугливые трясогузки безбоязненно летают теперь вокруг меня, гоняясь за мошками.

Иногда в стороне, утонув в хлебах, мелькнет соломенная крыша деревенской хаты или журавель над колосом. Жаль, что здесь не видно домика еврейского крестьянина.

Ложусь в самой гуще пшеницы. Вокруг меня покачиваются и тихо шуршат колосья; надо мной проплывают облака, похожие на куски ваты. Божья коровка садится мне на лицо, щекочет меня своими шестью лапками, но я ее не сгоняю.

В школе сейчас каникулы, поэтому здесь никого нет. Но у калитки во двор я встречаю глухую Матильду. На плече у нее чемодан Голды.

Странно! У меня сердце падает.

Дверь в комнату Голды полуоткрыта, мне не приходится даже стучать. Однако Голда встречает меня не приветливо. Она сидит посреди комнаты на связке книг, возле нее — раскрытый чемодан. При моем приходе она его сразу захлопывает.

— Голда, — спрашиваю я, — вы уезжаете?

— Чего тебе нужно? — говорит она недовольно, затем, ухватившись руками за стол, пересаживается на стул.

— Я был у Ищенко. Он передал мне привет от Магида.

— Знаю,— отвечает она сухо.

— И поручил мне распространять газеты.

— Газеты? — Тут она улыбается и становится немного приветливей.

— Я пришел предложить вам газету.

— Хорошо, Ошер.

Она берет у меня список газет и отмечает нужные ей карандашом. Потом она пишет записку и говорит, что в отделе просвещения мне по ней заплатят.

Я встаю и собираюсь уходить. Она задерживает меня:

— Подожди-ка!

Проведя рукой по моему лбу, она долго глядит мне в глаза, но так ничего и не говорит.

В последнее время Голда стала какой-то грустной, раздражительной, побледнела, глаза углубились.

— Я устала, Ошер, еду отдыхать.

— Да, Голда, выглядите вы не так, как обычно.

— То есть как это не обычно?

— Вы устали.— Я не пойму, чего она всполошилась.

— И это видно?

Схватив зеркало, она долго разглядывает себя; разглаживает две морщинки у верхней губы, причесывает волосы.

— Значит, я уезжаю, Ошер. И у меня к тебе просьба.

— Да! — Я вскакиваю, готовый для нее сделать все, что угодно.

— Я еду отдыхать, это недалеко отсюда. Но я не хочу, чтобы знали, где я буду. Покоя не дадут. Ни Ищенко, ни кто другой не должен этого знать. Но тебе я скажу. Только ты даешь слово?..

— Никому не скажу,— говорю я, готовый сложить голову, но не выдать тайны.

— Я буду у Матильды. Ты, кажется, знаешь, где она живет?

— По ту сторону железнодорожного моста. Я там бывал.

— Вот и хорошо. Будешь приходить? Принесешь газету, может быть, письмо будет.

Она дает мне руку и велит идти; говорит, что немного поправится, и тогда мы снова возьмемся за работу.

Только вечером вернулся я наконец на почту. Уже было темно, пришлось стучать с черного хода.

Дударев раз десять спросил «кто?» и «кто там?». А открыв дверь и увидев меня, он долго морщился и расспрашивал, отчего это я к нему заявился так поздно.

Все же он взял меня под руку и провел через спальню, где в каком-то странном чепце сидела его перепуганная старушка. Она следила за мной удивленными, выпученными глазами. Да и сам Дударев был уже не прежний важный начальник. В халате, без мундира и форменной фуражки, он был скорее похож на старую бабу. Тяжело висели мешки под глазами, когда-то полные щеки теперь складками лежали на шее.

Перегороженная решеткой почтовая контора, куда мы вошли, была еле освещена.

— Товарищ Дударев,— я вытаскиваю пригоршни денег из карманов и подаю ему квитанционную книжку,— вот подписчики!

Дударев насаживает пенсне на нос и, поглядывая то на меня, то на деньги, хватается за счеты.

— Очень славно! — Поплевав на руки, он принимается разглаживать смятые бумажки и складывать в стопки серебро и медяки.— Славно! Благодарствуйте! — говорит он, внезапно растроганный, потом вдруг сует мне деньги.

— Пожалуйста! Восемь рублей девяносто пять копеек.

— Товарищ Дударев! — говорю я в испуге, не понимая, за что он дает мне деньги.

— Вам причитается десять процентов.— Он смотрит на меня в недоумении.— Вы собрали восемьдесят девять рублей и пятьдесят копеек. Вам десять процентов. Больше я не могу.

Смущенный, я забираю деньги и ухожу, забыв даже пожелать ему доброй ночи.

Выйдя на улицу, я еле сдерживаюсь, чтобы не пуститься бежать. Иду, и мне странно, что никто не оборачивается и не смотрит на меня. Долго-долго я стою возле наших дверей. Хочу немного успокоиться, чтобы сердце не стучало так сильно.

Вхожу. Все спят. Лампа прикручена. Стараюсь держать себя как ни в чем не бывало. Но чуть я выкручи-

ваю фитиль, как мама сразу просыпается и предлагает мне поесть. Проснулся и отец и сел на кровати.

— На, мама! — Я вынимаю деньги из кармана и кладу их на стол, точно это для меня пустяк. — Заработок!.. И постели мне, — говорю я как можно строже, — я очень устал!

Но я вовсе не устал. Я в состоянии сейчас перевернуть все вверх дном. Не хочу, однако, чтобы отец и мать догадались об этом, и быстро выхожу в кухню, где долго-долго моюсь. Я лью холодную воду на свою разгоряченную голову, потом долго обтираюсь полотенцем. Мама ходит вокруг меня на цыпочках и умоляет что-нибудь поесть. Но я говорю, что я сыт. Мне теперь кусок в горло не полезет.

Быстро раздевшись, я ныряю в постель и укрываюсь с головой. Я не хочу, чтобы они видели мое лицо.

Слышу, отец с матерью разговаривают. Они говорят, что мне пора сшить суконный костюм и купить шапку, потому что я — не сглазить бы — расту и все на мне расплзается по швам. Мама просит отца купить мне ботинки со шнурками: я уже не ребенок, и пора мне бросить штиблеты на резинках. Но я недолго слушаю этот разговор — я таю, расплываюсь, засыпаю счастливый, точно весь мир наклонился надо мною и баюкает меня.

ЧТО ТАКОЕ С ГОЛДОЙ?

Теперь у меня нет ни одной свободной минуты, ни посидеть, ни поболтать нельзя. Каминер вовсе не выходит из бывшей кожевни Калуна. Папа работает на мельнице днем, поэтому он приходит сюда к вечеру, а мама говорит, что ей уже голову заморочили этими стульями.

Все это означает, что у нас в местечке открыли мебельную фабрику.

Никогда не думал, что фабрика бывает такой. Мне представлялось, что у фабрики множество окон, без конца трубы, и из них день и ночь валит дым. А у нас дым еле ползет, да и то не каждый день. И окон у нас мало.

Фабрику открыли в помещении бывшего кожевенного заводика Калуна. Сначала Калун говорил, что вся эта история его ничуть не трогает, но когда на его заводике

стали засыпать чаны, хозяин взбесился и полез в драку. На помощь ему примчался Исайка со своими друзьями. Но тут явилась милиция, и Исайка моментально скрылся. А Калуна на несколько дней посадили, и он присмирел.

Помещение кожевни разделили надвое. В одной половине все окна заложили кирпичом и устроили парильню. Здесь парят ясень, гнут его и делают ободья и дуги, а самое главное — круги и ножки для стульев. Во вторую половину уже невозможно войти: она завалена стульями. Никогда я еще не видел такой уймы стульев. Темно-коричневые, светло-желтые, они взгромодились здесь до самого потолка.

Каминер либо испытывает стулья, либо переходит от человека к человеку и толкует с ним. Никогда еще не был он так приветлив со всеми. Недавно Бечек вызвал машиниста с мельницы, маленького Сважека. С ним пришел и Зяма, прихватив с собой большой медный гудок. Бечеку очень хочется, чтобы фабрика у него гудела. А мне и подавно! Во всем мире фабрики гудят по утрам, зовут рабочих на работу. Но машинист сказал, что для этого нужен пар. Пару в парильне хоть отбавляй, задохнуться можно, однако для гудка он не годится.

Синяя фуражка Бечека с лакированным козырьком мелькает по всей фабрике. Он без конца обходит бывших кожевенников, плотников, портных, лавочников. Здесь работают все оставшиеся без дела. Здесь трудится и Вениамин, отец Сролика.

— Вениамин, — кричит Каминер и хлопает его по плечу, — ты теперь настоящий рабочий!

Но Вениамин все еще приниженно улыбается, — никак не забудет свое прошлое. И все же, с тех пор как Вениамин скинул замасленный сюртук, пахнувший таранью, огуречным рассолом и керосином, он стал уверенней и спокойней. Его редкая рыжеватая борода, растущая из шеи, выглядит теперь не так испуганно.

Если бы не газеты, я б дневал и ночевал здесь. Тут так шумно, так весело! В одном месте пилат, в другом строгают, в третьем собирают стулья. А там, где работают женщины, стулья трут наждаком, полируют, а затем связывают и отправляют в кооперацию и на вокзал.

Даже я купил стул, хотя у нас в доме достаточно табуреток. Надо ведь поддержать фабрику!

Мою радость омрачают газеты. Уже прошла неделя, а выписанных газет все нет и нет. Подписчики не дают мне покоя.

Дударев говорит, что газеты придут в начале месяца, потому что с этого срока они и выписаны. Я это знаю, но все же бегая на вокзал каждый день и, если там начальника станции нет, отправляюсь к нему прямо на квартиру.

Приметив меня на платформе или у своего палисадника, начальник станции поспешно качает головой и кричит еще издали, что газет нет, а сам тем временем куда-нибудь удирает. Он даже сказал про меня кассиру, что впервые видит такого настырного мальчишку. Но я все же по-прежнему аккуратно являюсь сюда каждый день; растягиваюсь в тени тополей, обступивших нашу маленькую каменную станцию, и жду.

Не так давно здесь было довольно шумно. Бесперывно приходили эшелоны с беженцами, мчались броне-поезда. Но теперь один поезд приходит утром, другой — вечером, а между ними тоска.

В это время наш толстячок, начальник станции Шкабура, снимает фуражку с красным верхом и тужурку с блестящими пуговицами и в одной рубашке полет у себя в огороде или сидит на каменных ступеньках перед домом и забавляется с кошкой. А возле него, надо мной, вокруг вокзала шумят высокие тополя, гудят провода, бегущие вдоль полотна железной дороги, и затем пропадают вместе с высокой насыпью вдаль, среди холмистых полей. Иногда до меня долетает звонок большого желтого телефонного аппарата или стук телеграфа. Все эти звуки, эта насыпь и даже пустота вокруг напоминают мне о непознанной дали, неведомых землях, странах и городах, которые так хочется повидать.

Но сразу перед приходом поезда здесь становится весело. Прежде всего у платформы появляется почтовая двуколка, на которой восседает старый письмоносец Трофим; он стал теперь моим лучшим другом — он учит меня курить. Я уже умею пускать дым через нос не хуже самого Трофима. Когда курю, я чувствую себя взрослее.

Однако перед приходом поезда курить некогда. Прежде всего нужно приложить ухо к рельсу — не гудит ли. Чуть слышится громохание, на платформе появляется торжественный и строгий начальник станции в красной

фуражке и черной форменной тужурке, с жезлом в руке. За начальником на платформу выбегает худой, вечно заспанный кассир. Он поворачивает скрежещущий рычаг, и тогда, точно вытянув гостеприимно руку, впереди открывается семафор.

Торжественный и грустный, раздается в тишине первый удар колокола. Теперь хватит лежать на рельсе. Где-то далеко-далеко, где небо сливается с землей, появляется клочок дыма. Постепенно он становится все гуще и гуще. И вдруг слышится свисток, который повторяет эхо. Для меня он постоянно неожидан. Я вздрагиваю и хватаюсь за ограду. Затем с бьющимся сердцем наблюдаю, как, становясь все больше и больше, летит на меня, громохатая колесами, весь в клубах дыма, черный, страшный, вечно торопящийся паровоз.

Как безумный, бегу вдоль поезда, шупаю, глажу и даже отираю пыль с боков зеленых многооконных вагонов. Заглядываю в окна, с тоской и уважением посматриваю на незнакомых людей. Хотелось бы, чтобы они хоть что-нибудь попросили у меня. Но они молчат, даже не глянут в мою сторону, даже не выйдут из вагона.

Как-то пассажир спросил у меня, какая это станция. Я чуть было не расхохотался. Было очень странно, что он не знает нашей станции и нашего местечка: у нас изготавливают стулья, жизнь бьет ключом, а он ничего не знает! Но поезд стоит так мало, что я даже не успел ему рассказать обо всем этом. Пассажир вошел в вагон, и поезд умчался. На платформе остались только я да ставший вдруг серым и будничным начальник станции.

Досадно, что еще не пришли газеты, но еще большую досаду навевает эта тишина, равнодушие, с которым дым от паровоза расстилается в воздухе, ползет по тополям, по нивам и, наконец, исчезает.

Но вчера вечером я наконец газеты получил. Это было совершенно неожиданно.

Я расхаживал у высокого, большого фонаря, который качает вокруг себя тьму, освещая лишь рельсы, кусок платформы, колокол и большое окно вокзала. Справа и слева на путях виднелись красно-зеленые фонари стрелок. Уже вышел начальник станции, выбежал кассир.

Вызвездившуюся ночную тишь разорвал гудок прибывшего паровоза. От снопов слепящего света впереди, сияющих вагонных окон стало больно глазам, резко вы-

рисовывалась каждая веточка тополя, заискрилась росинка на листке.

Как всегда, я сразу же кинулся к зеленому багажному вагону. Там уже стоял Трофим. Узкая обрешеченная дверь была открыта. Ворчливый, заспанный уполномоченный принимал от Трофима запечатанный мешок и сдавал ему свой. Потом он стал бросать прямо на землю какие-то толстые бумажные пачки. Я сразу догадался, что это газеты.

— Товарищ начальник! — стараюсь я перекричать шум паровоза. — Товарищ начальник!..

Настигнув Шкабуру возле одного вагона, я уж не отстаю от него. Сердце у меня колотится. Я не могу говорить. И начальник вынужден мчаться со мной.

А пачек много, они рассыпаются. Я держу их руками, зубами, подпираю головой и даже коленом, и вскоре вместе с Трофимом добираюсь до его двуколки.

Никогда еще мне так не хотелось, чтобы Трофим быстрее гнал лошадь. Но она, как назло, еле плетется. Колеса грузнут и шипят в песке, подпрыгивают на корневиках. Лошадь тяжело сопит, и Трофим непрерывно покрикивает на нее.

Собаки учуяли нас еще издали, и вся деревня наполнилась лаем. Из-за них не слышно соловьиного свиста, плача сыча в высоких сросшихся липах, заслонивших от нас небо. В местечке лошадь идет быстрее, двуколка начинает гроыхать на камнях. Мне невтерпех — я еду стоя. Не успел Трофим подъехать к нашему дому, как я уже соскакиваю на ходу и, подхватив пачки, мчусь к себе, на чердак сарая, где я сделал замечательную комнатку.

Я раздобыл фанерные ящики из-под спичек, соорудил из них полки и, как аптекарь, расставил книги, втащил сюда дедушкин столик и свой стул, который купил на фабрике. Дедушкина восковая свеча тоже здесь. На столе у меня портрет Ленина — тот, где он изображен сидящим за столом и читающим «Правду».

Плохо только, что сейчас ночь. Еле нащупав в темноте лестницу, я перетаскиваю на чердак свои пакеты. На мгновение останавливаюсь в испуге: летучая мышь ударилась о дырявую крышу, кто-то царапается в соломе. Но я быстро зажигаю свечу, вставленную в широкое отверстие зеленой бутылки, и сразу же забываю о ночных страхах.

При свете начинаю разглядывать свои пакеты. Перекладываю их из стороны в сторону и не устаю читать адрес на них. Газеты обернуты в толстую белую бумагу, перевязаны шпагатом и скреплены печатями. Я до безумия рад тому, что на каждой пачке написано мое имя и фамилия. Развязываю их и обнюхиваю газеты — они пахнут краской, ночной прохладой, вестями со всего света.

У меня дух захватывает. Подбегаю, чтобы распахнуть слуховое окно, — быть может, удастся хоть кого-нибудь увидеть и позвать к себе. Но кругом ни души. На базарной площади даже фонарь не горит. Только луна молчаливо освещает крыши и слепые окна спящих домов.

Как Ленин на портрете, усаживаюсь я за стол и принимаюсь читать газету. В мертвой тишине зычно кричат заголовки телеграмм: «Ответ Чичерина Керзону». «Французы вошли в Рур». «Восстание в Германии». «Кровавые столкновения в Польше». «Ленин».

В верхнем углу полосы напечатано сообщение о болезни Ленина. Я даже становлюсь на колени и, подперев голову руками, в трепете перечитываю сообщение. Затем, схватив свечу, подбегаю к портрету Ленина. Слуховое окно раскрыто, пламя свечи колеблется, воск тает, растекается по моей руке и застывает. Весь чердак полон теплотой. И лицо Ленина, точно живое, то осветится, то потемнеет и глядит на меня, спокойно улыбаясь.

Никак не пойму, как и когда я уснул. Утром я увидел, что у меня в головах подушка и я накрыт одеялом. Видно, мать приходила, а я ничего и не слышал.

Утром она же и разбудила меня. Стоя на лестнице, она держала кусок хлеба с маслом и свежий огурец. Я накричал на нее и велел сойти с лестницы. Мне было стыдно, так как внизу уже было полно народу.

Не пойму, как это так быстро все дознались и прибежали за газетами. На бревнах внизу сидели аптекарь с зонтиком, Меер Калун, Вениамин и еще многие-многие другие. Они ждали, когда я проснусь. Увидя меня, все вскочили, задрали головы и стали кричать:

— Что пишут, Ошер?

— Бюллетень о Ленине! — кричу я с чердака.

— Что-о?

— Французы в Руре. Восстание в Германии. Керзон...

— Что с Лениным?

— Ленин болен! — Я сбрасываю газеты и кричу: «Известия» — Грузенбергу! «Эмес» — Вениамину Иоффе! «Знамя коммуны» — Михелю! «Шахматы и шашки» — Калуну! «Правда»... «Незаможник»...

Люди наклоняются к земле, рвутся к лестнице, вытягивают руки. А белые газеты плывут по воздуху, летят в сумерках сарая, пока их не поймают.

Все кричат: «Тихо!» — толкуются и читают весть о Ленине.

Выхожу на улицу и принимаюсь за разноску газет. Сролик хочет мне помочь. Я даю ему несколько газет.

— Ленин болен...

За нами увязалась детвора, и от них не отобьешься. Шагаю по местечку, а за мной целая орава ребят.

Ну и набегался я сегодня. Только после полудня кончил разноску газет.

У меня остался лишь «Гудок» и газеты для Голды. С «Гудком» я не знаю, как быть. Я понес его Рябову, но там уже сидит какой-то другой человек — низенький, широкоплечий, с ежиком на голове.

— Мне нужен товарищ Рябов, — говорю я ему.

— Какой Рябов?

— Начальник милиции.

— Я начальник милиции, — отвечает он и даже не улыбается. Только на крылечке у милиционера Галушки я узнал, в чем дело.

— Фьють! — Милиционер подбрасывает ногу, точно кого-то выталкивает. — Рябов давно уже не начальник и даже уехал.

Отправляюсь к Голде. Домик, где она теперь живет, находится недалеко от железной дороги. Сунув газеты за пояс, иду по шпалам. По левую сторону — поля капусты, луга и неподвижная речка, в которой отразились белесое небо, прибрежные вербы и тополя, окаймляющие левую дорогу. Справа пошли нивы. А вон крыша хуторка, синяя роща, которая в этот солнечный день кажется ближе и гуще.

Раскинув руки и покачиваясь, бегу по рельсу. Только на железнодорожном мосту перевожу дыхание. Мост уже починили. Бросаю сверху камешки и гляжу, как расхо-

дятся по воде круги между обломками колес и кусками вагонной крыши, которые давно заросли зеленой тиной.

С моста я спускаюсь по высокой песчаной насыпи, затем полевой дорогой направляюсь через хуторок к Матильде. Домик ее стоит совершенно в стороне. Он такой же маленький, как и другие хаты, но крыша у него черепичная.

Не торопясь вхожу во двор, но здесь никого нет. Лишь наседка хлопчет возле выводка цыплят да на завалинке дремлет кошка. Несколько горшков торчат на сучках единственного тополя, который разросся у порога и укрывает всю крышу домика.

Дверь открыта. Вхожу внутрь, ступаю по свежей мяте, рассыпанной на земляном полу. В доме прохладно и сумеречно. В углу на трех цепочках висит лампада, она освещает икону. На столе лежит недошитая детская распашонка, в углу — какие-то книги. Пальто Голды, ее шапочка висят на гвозде, ботинки — под чисто застланной кроватью.

— Голда! — кричу я, приложив руки ко рту. — Голда!

— А-а-а! — доносится до меня веселый звонкий голос. — Сюда! Быстрей, Ошер!

Из-за домика появляется Матильда. В руках у нее тляпка, рябое лицо красно и в поту. Улыбаясь, она проводит по лбу тыльной стороной руки.

— Б-э-э, — показывает она куда-то за домик. И, как всегда, когда она хочет что-нибудь сказать, усиленно гримасничает и лицо у нее становится злым.

Выхожу с ней в сад, спускающийся вниз, к полоске цветущей гречихи. Потом мы идем лужком, на котором растут вербы и груши, посаженные до самой железнодорожной насыпи.

— Да поскорее! — Поднимается вдруг из высокой травы сияющее, очень веселое лицо Голды. — Боже мой, — дергает она меня так, что я даже присаживаюсь, — ведь я скоро помру с тоски! Послушай-ка, Ошер, — и она показывает пальцем на рот, — я еще говорю?.. Я еще не забыла, как шевелить губами? Ха-ха-ха! — Она



смеется во все горло.— Вот уж месяц, как я не разговаривала с людьми. Чего ты молчишь?..

Я уже собрался рассказать ей про стулья, но онахватила у меня газеты — и все кончено, точно меня не существует: она вытянулась во всю длину, подперла голову руками и читает. Лоб у нее то соберется морщинками, то снова разгладится. Время от времени она отбрасывает падающие на глаза волосы, хмурится. Лицо ее при этом как-то меняется, или мне кажется, что она сама изменилась.

— Ошер,— поворачивается она ко мне,— сегодня ты рано вернешься домой?

— Да.

— Зайди к доктору.

— Зачем?

— Понимаешь, Ленин болен. Зайди к нему и скажи, что я просила написать мне, опасная ли это болезнь. Я ничего не понимаю из бюллетеня.

— Хорошо, зайду.

— Не забудь же!

Голда опять ложится и утопает в высокой траве. Ее темно-зеленый халат с цветочками пропадает, и кажется, будто тут выросли красноватая конюшина, синие колокольчики и веселые иван-да-марья.

Голда продолжает читать и даже улыбается. Вижу, она смотрит на карикатуру в «Известиях», где толстопузые буржуи в цилиндрах толкутся у дверей Наркоминдела; каждому хочется первым войти к народному комиссару и сообщить, что его страна признает Советский Союз.

— Ага, Ошер, они уже спрашивают!

— Вот здесь,— показываю я пальцем в газете,— пишется про Рур. А здесь про Керзона. О восстании в Германии...

— Восстание, говоришь?

Она поднимается и начинает быстро-быстро потирать руки. Оставив страницу, Голда принимается просматривать остальные газеты и вдруг натывается на «Гудок».

— Разве я выписывала «Гудок»?

— Нет. Это газета товарища Рябова.

— Как Рябова?! Почему же ты принес ее мне?

— Я зашел в милицию, хотел отдать ему, но он уехал, он уже не начальник.

— Уехал? Не начальник? — повторяет она и умоляет. Затем, спохватившись, спрашивает: — Какие там еще новости, в местечке?

— Голда, Каминер устроил парильню,— сообщаю я, обрадованный.

— Что?

— Парят ясень. Делают дуги, ободы, стулья. И все покупают. Работают бывшие кожевники, бывшие лапочники. И отец Сролика работает. Это называется фабрика, и она будет гудеть.— У меня даже дух захватывает от того, что Голда всего этого не знает.

Голда пододвигается ко мне ближе. Меня, однако, удивляет, что она не радуется, а почему-то мрачнеет.

— Давно уже ее открыли?

— О, уже две недели!

— Уже две недели? А кто там работает?

— Фроим Катух, Зюзл, резчик Михель, мать Зямы, Вениамин, плотник Мотя, Хая-Лея из чайной.

— Ну, и стало лучше?

— Ого!

— А о переезде на землю ничего не слышно?

— Кажется, ничего.

Но Голда уже перестала расспрашивать. Она вдруг говорит мне, что здесь можно помереть с тоски.

— Ну, чего я здесь валяюсь? — Она смотрит мне в глаза и не видит меня.— Что я здесь делаю? Зачем мучаюсь? — Кажется, она разговаривает сама с собой.

— Вы недовольны, Голда? — спрашиваю я.

— Как недовольна? — удивляется она.— Наоборот, Ошер. Это, может быть, наши самые светлые годы. Наоборот, все это очень хорошо. А тебе как?

— Очень хорошо! — вскрикиваю я и сообщаю, что Каминер говорит то же самое.

— Ну вот! А на меня ты возвел поклеп. Эх, Ошер! — Она проводит рукой по моему лицу. — Ты уж стал дурно думать о Голде, возгордился. А я еще помню, как ты бегал в рубашонке из бумазеи.

— Нет, Голда, я не думаю о вас дурно.

— Я шучу, Ошер. Гляжу только, какой ты большой стал, и мне иногда кажется, что я живу страшно долго. А иногда — что живу еще очень мало. Только вчера ты бегал в рубашонке, а теперь разговариваешь о Керзоне.

И, говорят, даже с девочками гуляешь,— хитро усмехается она.

От этой усмешки мне становится жарко. Она никогда не говорила со мной о таких вещах.

— Уже надулся, Ошерка? — спрашивает она.

— Нет! — Я отворачиваюсь и гляжу на красное солнце, которое садится за железнодорожной насыпью, на ворон, которые уже летят с полей, на туманы, встающие над прудами.

— Я пойду, Голда. Мне ведь надо еще зайти к доктору.

— Ну ладно, иди!

Опираясь на руки, она встает сначала на колени, а затем медленно, кряхтя, поднимается с травы.

И как только она выпрямляется, я делаю большие глаза. Да ведь это не Голда! Когда она лежала — все было ладно, а теперь ее не узнать.

— Ох, как вы пополнели! — вырывается у меня.

— А?

Она отодвигается от меня и крепче запахивает халат. Кровь отливает у нее от лица, и она становится совсем бледной. Вот она уже бледней воротничка, который выглядывает из ее халата. Синеватые лишь подглазницы.

— Этот халат... — шепчет она. — В халате... Очень широкий... И еще от безделья...

Она отворачивается и, тяжело дыша, медленно шагает к дому.

— Ошер! — Голда останавливается возле гречихи и показывает на солнце и на тени, которые становятся все длинней. — Тебе пора, иди! И больше не надо... Ко мне далеко... И газет не носи!..

— Да нет же, Голда! Я могу каждый день...

— Не нужно. Я прошу тебя. Здесь низко. Слишком много прудов. Мне это вредно. Я, может быть, перееду туда. — Она показывает на далекий лес, который чернеет по ту сторону полей. — Ты можешь меня не застать... Не приходи! Оставляй газеты у меня под дверью, а Матильда их будет забирать. Иди, иди, Ошер!

— Ну что ж, будьте здоровы, Голда!

— Вот это мне и нужно! — отвечает она.

Но я не пойму, что такое с Голдой: у нее стоят слезы в глазах.

— Только бы не умереть, Ошерка! Мне нужно еще кое-что важное сделать, — говорит она и, не оборачиваясь больше ко мне, тихонько идет к домику, где в окнах пылает пламя заката, а из трубы на крыше уже тянется сизоватая струйка дыма.

ПОЖАР

Я еще во сне услышал набат, но мне никак не хотелось просыпаться. Натянув на голову одеяло, я поджал коленки до самого подбородка и притих, надеясь, что этот интересный сон продлится. Я люблю видеть во сне всякие происшествия, хотя бы пожар, особенно ночной пожар, когда небо становится красным-красным. Гудит набат, собаки лают, все необычно, все выглядит не как всегда. И жутко и интересно.

Но сейчас это уже как будто не сон: слишком сильно хлопнула дверь, слишком шумно у нас под окнами. Колокола звонят так, что я вскакиваю с постели. Оглядываюсь кругом и не понимаю, почему у нас пламенеют окна и кроватные отсветы падают на пустые постели отца и матери.

Я в ужасе выбегаю на улицу. Но здесь меня чуть не задавили. Конные скачут к пожарному сараю, пешие бегут с ведрами и лопатами и кричат. Всех громче кричит жена Меера Калуна. Ломая руки, она вопит, что посадили ее Меера.

Ночь до краев наполнена криками людей, лаем собак, захлебывающимся перезвоном колоколов.

Домá сразу стали маленькими, прижались к земле под кроваво-красными облаками, которые то бледнеют, то вновь наливаются светом и виснут неподвижно над кожаньями, над горой, где стоит наш Совет.

— Фабрика!.. Фабрика!.. — кричат со всех сторон.

— Бойня!..

— Не бойня, а Совет...

— Совет горит! — слышу я мамин голос.

Забыв обо всем на свете, мчусь по темным улочкам к нашему Совету. Но, взбежав на гору, убеждаюсь, что здание Совета благополучно стоит на месте. Теперь до меня явственно доносится бряцанье ведер, позвякивание

Каминер сидит возле пожарной бочки на опрокинутом ведре. Он в одной рубашке.

— Да оставьте меня в покое! — отталкивает он меня.

— Я должен кое-что сказать! — говорю я торопливо.

— Ну что? — поднимает он голову. — Чего тебе нужно? — И он снова глядит на груды горящих бревен, на фонтаны искр, которые возникают каждый раз, когда пожарные крючьями растаскивают бревна. — Что ты хочешь?

Я говорю ему на ухо всего лишь одно слово:

— Исайка...

— Что-о? — Он хватает меня так, что я еле сдерживаю крик.

— Исайка возле нашего Совета, — говорю я.

— Ты сам видел?! — Он встает и ногой отбрасывает ведро так, что оно, звякнув, летит кувырком куда-то далеко в темноту.

— Пойдем-ка!

Каминер шагает так быстро, что я еле поспеваю за ним. Он идет почему-то к реке. Уже под ногами чавкает мокрая земля, трава по колено нам. Но лишь когда мы совсем удалились от пожарища, он опускается на поваленное дерево.

— Когда ты его видел? — спрашивает Бечек.

— Только что. Под горой.

— И это был Исайка?

— Да.

— А с ним никого не было?

— Не знаю. Я убежал.

— А тебя он не видел?

— Кажется, нет.

— Отомстил! — говорит он, почти не раскрывая рта. — Поджег за несколько сребреников!

Больше Бечек ничего не говорит. Он начинает соскребать грязь с сапог с таким остервенением, что я боюсь слово вымолвить; останавливается, лишь когда хрустнет ветка или лягушка бултыхнется в воду.

Начинает уже светать. На поверхности пруда можно разглядеть пузырьки. Но птиц еще не слышно. Тучи стоят так низко и их так много, что теперь на них нет отсвета пожарища. Начинает накрапывать дождик, и на поверхности пруда образуются кружки.

— Дождь, что ли? — вздрагивает Бечек. — Что такое? Тьфу! — плюет он. — Я совсем уже потерял голову —

выбежал без пиджака... Вот что, Ошер! Сбегай-ка, попроси у кого-нибудь пальто.

Я вскакиваю и тотчас пускаюсь бегом.

— Подожди-ка! Еще позови Голду!

Однако на пожарище я уже Голды не застал. Да и пальто не у кого взять.

— Ну и ладно. Нет так нет. Сиди! — говорит Бечек. — Значит, нету пальто? Да, это плохо. Неприятно встретиться с ним в таком виде...

— То есть как встретиться? Ведь он хочет вас убить?!

— Мало ли что он хочет! Я ведь тоже не дурак.

— Но ведь он в вас стрелял и поджег, как вы говорите!

— Не он. Я думал о Калуне.

— А Исайка?

— Ну, подумаешь, ссорился с ним. Теперь мы уже помирились.

— С Исайкой? Да вы смеетесь! — Никак не пойму, в чем тут дело.

— Пошел бы ты лучше домой, Ошер! — говорит он сердито, но вслед за тем вновь становится приветливым. Но это странная приветливость, — лицо каменное, и ни улыбки.

— Ошер, сделай одолжение!

— Какое?

— Мне нужно сходить в милицию. Меера Калуна посадили. Сбегай в Совет и принеси мне мой пиджак. Не боишься?

— Нет, нет, принесу! — Я скорее дам кожу с себя содрать, чем покажу, что мне страшно.

— Помни, однако, Ошер! Если он там меня ждет, то, конечно, спросит, почему ты несешь мне пиджак. А ты ему голову не морочь и говори правду. Скажи, что я тебя послал, что я в милиции, у Меера Калуна, и что я буду тебя ждать у вас дома.

— У нас дома?

— Да, у вас дома. Туда и принеси пиджак.

— Ну что ж, бегу!

Однако я не побежал, а пошел, и очень медленно. Мне хотелось бы, чтобы дорога длилась как можно дольше. Я останавливаюсь у кучи тлеющих углей. Моноotonно идет дождик, тихо шипят угасающие головешки. Люди смотрят на торчащую среди пожарища печь оста-

ОЛЕВСКИЙ

Борис Абрамович

Начало жизни

Редактор Г. Фальк
Художественный редактор

Г. Кудрявцев
Технический редактор

Ф. Артемьева
Корректор Г. Суриц

Сдано в набор 19/XII 1966 г.
Подписано в печать 10/IV 1967 г.
Бумага типографская № 2.
Формат 84×108¹/₃₂—7,75 печ. л.—13,02 усл.
печ. л. 13,05 уч.—изд. л. Заказ № 1933.
Тираж 50 000. Цена 59 коп.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

Полиграфкомбинат им. Я. Коласа
Государственного комитета Совета
Министров БССР по печати.
Минск, Красная, 23.

новившимися, пустыми глазами, затем расходятся. Ухожу и я.

Я иду по тропинке к Совету, точно по стеклу, и настороженно вглядываюсь. На березе никого нет, кругом ни души.

Наконец подхожу к Совету. Дождь точно пальцами барабанит по железой крыше. Боясь оглянуться, подхожу к раскрытой настежь двери. Стараюсь идти тихо, но ботинки гулко отбивают шаг на цементном полу. На широкой скамье лежит развороченная постель Каминера. Быстро забираю его пиджак, сворачиваю в узел и отправляюсь домой.

Но на пороге меня встречает незнакомец в брезентовом плаще и с капюшоном на голове. Хочу обойти его, но он задерживает меня и, кашлянув в ладонь, спрашивает по-украински, не здесь ли поселковый Совет, хотя на вывеске перед входом все ясно написано.

— Да, — отвечаю я ему. — Но еще рано, товарищ.

Однако он не слушает меня и входит в помещение. Хочу сказать, что входить нельзя, но мне становится страшно.

— Ты что это стащил, воришка? — говорит вынырнувший внезапно из-за кустов Исайка.

— Это пиджак, — отвечаю я, дрожа. — Несу Каминеру.

— Какие там еще пиджаки? — ощупывает он узел.

— Бечек просил. Он вышел в одной рубашке.

— А где он, твой Бечек?

— В милиции. За пожар посадили Калуна. Но Бечек будет ждать меня у нас.

— Где это — «у нас»?

— У Леи.

— Ты, кажется, Ошер?

— Ошер.

— А как меня звать, знаешь?

— Нет!.. — Я боюсь произнести его имя, потому что слышал, что он может убить за это. — Нет, не знаю.

— Не валяй дурака! Я не пьян, и меня на бога не возьмешь, — говорит он, хотя я чувствую тяжелый запах водочного перегара.

— Кажется, Исайка?

— Ах, холера! Я тебя помню, когда ты еще пешком под стол ходил, а ты со мной шутики шутишь, болячки тебе!

— Вот теперь я вас признал.

— Ясно, что признал. Ведь меня все знают! Да? — Он притягивает меня поближе к себе. Его широкое, четырехугольное лицо точно припухло, большие мешки свисают под беспокойными, давно не знавшими сна и точно испуганными глазами. — Поговаривают обо мне? Да?

— Поговаривают. — Я пытаюсь несколько освободиться от его объятий.

— Не бойся, я не стану марать руки о тебя. Зря никого не трогаю. Я не Бечек, который гоняется за мной, как собака.

— Да нет же, Исайка, — пытаюсь я его успокоить. — Ведь он тебя любит.

— Кого? — кричит он разъяренно.

— Тебя.

— Меня? — Он таращит глаза так, что у меня дух захватывает. — Меня? Я сделаю сейчас из тебя яичницу! Хочешь надуть? У вас он или нет? Говори!

— Чтоб мне пропасть! — клянусь я совершенно искренне.

— Не кричи! Это он сам тебе сказал, что будет у вас?

— Сам сказал.

— Когда?

— Да вот недавно.

— Комиссар сказал — что пес пролаял. Бечек — не я. Я вот скажу, так скажу.

— И я говорю правду! — клянусь я вновь.

— Так ты не хочешь, чтобы меня поймали?

— Нет! — Я и в самом деле ничего против него не имею теперь. — Нет, не хочу.

— Видишь? — Он вытаскивает из кармана часы с цепочкой. — Хочешь иметь часы?

Я не понимаю, что ему от меня нужно.

— Это часы Меера Калуна, — говорит Исайка. — Он думает от меня отделаться часами да бутылкой водки. Я подарю их тебе, если ты мне вызовешь Бечека.

— Хорошо, вызову, — обещаю я и собираюсь идти.

Но Исайка велит мне подождать. Он подбегает к незнакомцу с портфелем и о чем-то с ним шепчется.

— Ну, пошли, Ошер!

Втянув голову в плечи и подняв воротник, Исайка нахлобучивает шапку до самых бровей. От этого он становится как будто ниже. А ходит он сторожко. Стран-

но! Человек, которого все боятся, поминутно останавливается, оглядывается по сторонам и прислушивается, хотя на улице нет ни живой души. Но возле нашего дома он исчезает.

— Исайка! — кричу я громко, но он не отзывается. — Мама! — Я принимаюсь стучать в дверь. — Открой!.. Каминер здесь?

— Был и ушел, — говорит она, открывая мне. — Выдумал ведь ребенка ночью посылать! Тоже барин нашелся! Он будет либо в парткоме, либо в Совете и просил принести ему туда пиджак. Эля, — зовет она отца, — сходи с ним! Незачем ребенку ходить одному ночью.

Она сама выходит ко мне с шалью на плечах. Но я не люблю таких штук.

— Не ходи! — говорю я ей и убегаю.

В парткоме, куда я пришел, темно и двери закрыты.

— Исайка! — кричу я опять.

— Цыц! — Появившийся точно из-под земли Исайка хватается меня за шиворот. — Чего орешь?

— Я думал, ты ушел, — лепечу я.

— Кто много думает, тому делают капут! — говорит он, дрожа от бешенства. — Я ведь сказал тебе: не кричать!

— Я не кричу.

— Послушай-ка, негодяй! — Он тащит меня за угол и, заикаясь от злости, спрашивает: — Зачем ты кричишь? Говори!

— Я тебя искал.

— Смотри, со мной в бирюльки не играют. Ладно уж, из слов матери я вижу, что ты не соврал. И нечего тебе дрожать! Ты мне не нужен. Я тебе даже часы отдам! Обещал — пропало. Пообещал Мееру Калуну — и сделал. Так и с тобой.

— Что ты обещал Мееру?

— Что нужно, то и обещал.

— Фабрику?..

— Ты что это тарашись на меня глаза! Чего тебе надо? — Он поднимает руку, и я замечаю в рукаве вороненую сталь револьвера. — Иди! — говорит он, бледный как полотно. — Иди!

Я иду молча. Потом говорю ему, что мне холодно, и, надев пиджак Бечека, подворачиваю длинные рукава. Так удобней будет бежать от него. Доведу до Совета, предупрежу Бечека и сбегу.

Однако Исайка не разрешает мне взбежать на гору. Он поминутно останавливается, пригибается и тащит меня тоже книзу. А сам он не спускает глаз с раскрытого окна Совета.

Наконец мы поднялись в гору. Однако дверь в Совете, которую я оставил открытой, теперь закрыта.

— Бечек! — кричу я изо всех сил.

Мне хочется поскорей вскочить в помещение и захлопнуть за собой дверь.

— Он, видно, спит! — говорю я нарочито громко.

Но Исайка хватается меня за локоть. У меня на лбу выступает холодный пот.

— Зови его! — подталкивает он меня к открытому окну. — Зови! — скрежещет он зубами. — Кричи! — и сует мне в карман часы.

Однако я не хочу, чтобы Бечек подходил к окну.

— Не дави так! — умоляю я его. — Лучше я залезу туда и разбужу его.

— Лезь!

Однако окно очень высоко, а выступающий каменный фундамент скошен. Сколько ни стараюсь, ноги ползут вниз.

Только при помощи Исайки мне удастся ухватиться за карниз окна. Но влезть внутрь я не могу. А тут еще рубашка зацепилась за гвоздь. Я весь изнемог, но ничего у меня не выходит. Чувствую, что сейчас свалюсь.

— Бече-ек! — кричу я из последних сил.

И вдруг замечаю, что Каминер стоит за деревом. Он подмигивает мне. Рядом с ним стоит новый начальник милиции.

Все это длится мгновение. Меня оглушают резкие выстрелы. Потом слышны вопли. Ощущаю страшную боль, но не могу даже крикнуть.

ЗЕМЛЯ

В то утро, когда убили Исайку, я свалился с окна и вывихнул себе ногу. Это, конечно, чепуха, надо только лежать, не вертеться. Но мне трудно улежать на месте.

А на Каминера я не в обиде. Оказывается, меня все время охраняли. Бечек говорит, что он из-за меня не мог

стрелять в Исайку и все утро вынужден был плестись за нами. Если б я все это знал, то, по крайней мере, обозвал бы Исайку бандитом, может быть, кинулся бы драться с ним.

Ну, что пропало, то пропало. Теперь я уже здоров. Жаль, что Голды еще нет. Уже осень, в школе идут занятия, а она все еще не вернулась.

Я сбегал бы к Матильде, да не знаю, там ли еще Голда. А к тому же и рассказать ей нечего. О себе неудобно, а о местечке ничего не расскажешь. Снова у нас тоска. И, как всегда, когда дела плохи, люди собираются у нас на крылечке или толкуются на базаре. Больше всего толкуют о мебельной фабрике и о земле.

Каминер сильно изменился и вроде даже постарел. На его небритом лице прибавилось много седых колючек. Его теперь редко видно, — целыми неделями пропадает в губернском городе. Он уже и с Ищенко ездил туда. Ему нужно, говорит он, получить кредит и добиться, чтобы людей послали на землю.

Нынче все стали говорить о земле. Примолкнув среди самых горячих споров, люди с завистью глядят на крестьянский воз, груженный хлебом. Даже женщины могут, внезапно бросив работу, долго смотреть вслед огромной телеге с сеном.

Дядя Менаше позавчера, стукнув себя рукой по лбу, потребовал, чтобы ему объяснили, откуда у евреев теперь такая тяга к земле.

Земли Каминер еще не достал, и он очень сердит. Сегодня, однако, он приехал из губернии повеселевшим. Он даже посидел у нас на завалинке.

Шоссе было пустынно. Ветер налетал порывами, неся с собой высохшие листья и смешивая их с соломой и навозом на шоссе. Как обычно, люди к вечеру собрались у нас под навесом. Сидели на завалинке, на земле, курили, нюхали табак, задирали головы, следя за цепочками отлетающих аистов, прислушивались к крикам диких гусей в небе.



Всем вдруг перестало нравиться наше местечко. Его стали теперь называть не иначе, как захоlustье. А отец Сролика Вениамин обозвал его даже могилой.

— Ну, все толкуете? — еще издали крикнул Каминер. Руки у него, как всегда, были в карманах, голова вскинута, точно он собирался с кем-то спорить.

Как только Каминер приблизился, все смолкли. Одни старательно глядели в землю, другие покашливали, третьи смотрели на тучу, с одного края черную, с другой красную, неподвижно повисшую над низкими домами.

— Зима идет, — начал вдруг ни с того ни с сего Фроим Котух и, как если бы уже было холодно, поежился и спрятал руки в рукава. — Кажется, сегодня будет дождь.

И, словно обеспокоенные этим сообщением, собравшиеся задрали головы к туче, где среди разодранных ее кусков уже показались звезды.

— Вы, оказывается, толкуете о погоде? — Каминер, опершись головой о руку, вытянулся на завалинке во весь рост так, что свет только что вспыхнувшего окна упал на его грязные сапоги с ушками по бокам. — Вам уже не нравится местечко?

— Да ведь дожили... Ходим без дела, — сказал Котух, не глядя на председателя Совета.

— Вот это настоящий разговор!

— Говорят, — набрался духу Вениамин, — люди кое-где уже перестали страдать.

— Кто это говорит?

— Народ.

— Какой народ?

— Народ. — Вениамин на всякий случай отодвинулся подальше. — В больших городах, товарищ председатель, люди уже имеют работу.

— Товарищ председатель не любит, когда попусту треплют языком. В городе еще тоже немало безработных.

— Но ведь народ ездит туда?

— И что же? — опять спокойно сказал Каминер. — Ищут. Если б мы раньше добыли земли... Или если б у нас было несколько фабрик...

— Да уж видели мы эти фабрики, — не дал ему договорить Фроим.

— Вот как? Уже видел, умник ты этакий! Ты пока видел только дым от фабрики. Правда, и с фабрикой

было бы немало горя. Бедны мы еще — мало стульев покупают.

— Почему же, товарищ председатель, нас на землю не посылают?

— Моя фамилия Каминер!

— Газеты пишут... — не отстает от него Фроим. — В газетах есть...

— Ты уже и газеты читаешь? — говорит довольный Бечек. — Вранье это! В газетах еще пока ничего не пишут. Но все же мы отправимся на землю, Фроим. Я вместе с Ищенко уже несколько раз ездил в губернию. Ждем со дня на день. Думаю, вскоре мы сможем послать несколько десятков семей.

— Да ведь все обещают. Конечно, если бы Ленин знал! Набрался бы кто-нибудь ума да написал ему... Только нас постигло такое несчастье...

— Ну, чего вы хотите? Ведь нельзя все сразу! — Каминер садится. — Вот смотрите! — Он показывает рукой на жалкие домишки, сбившиеся в кучу, на нищие лавчонки, на тусклый фонарь, к которому как раз сейчас сторож приставил лестницу, чтобы зажечь огонь. — У нас пятьсот восемнадцать семей. Из них сто сорок восемь — портные, сапожники, жестянщики, шорники, кожевники, кузнецы, бондари, маляры, столяры...

— Переплетчики, извозчики... — не удержался я.

— Заготовщики, плотники, — продолжает Каминер. — И более двухсот семей лавочников и всяких бедняков, которые вообще ни к чему не приспособлены. Невозможно для всех сразу найти работу... Скажи вот ты, Вениамин, у тебя, кажется, домик?

— Да, товарищ Каминер.

— Собственный.

— Свой.

— Сам строил?

— Сам.

— А у вас, Фроим?

— Тоже.

— Вспомните, как вы строили свои домишки. Вероятно, не раз глаза на лоб лезли, покуда обзавелись своим домом: то не хватало лесу, то кирпича на печку. И строили-то вы всего лишь один домик. А мы закладываем фундамент для целой страны, — загремел Каминер, — чтобы всем таким труженикам, как вы, было в нем хоро-

шо. Как же вы требуете, чтобы все вам было сразу, чтобы нигде не протекало, не продувало?!

— А ведь верно!.. — отозвался кто-то.

— Нельзя сразу... И мы еще посмотрим! — Тяжелая морщина прорезала лоб Каминера. Он стоит, весь освещенный светом из окна, и рубит шапкой воздух. — И мы еще посмотрим!..

Туго надвинув обеими руками шапку, председатель Совета, не оглядываясь, тут же уходит.

Как только все под окном разошлись, в дом заявился дядя Менаше. Я лежал на кушетке и ждал Сролика, чтобы вместе отправиться за газетами. Увидев дядю, я притворился спящим и даже стал похрапывать.

— Не дай бог никому! — говорит дядя, поглядывая в мою сторону. — В собственном доме не смеешь слова сказать!

Родителям нравится, когда приходит дядя. Он приносит им всегда что-нибудь новое. Отец уважает его и за то, что он умеет читать и что у него хороший почерк.

— Безбожники! — кричит Менаше. — Вероотступники! Не заботятся о том, чтобы переплести молитвенник или «Книгу пророков», которая уже рассыпается!

Дядю, конечно, интересуют переплеты, потому что он переплетчик. Думая, что я сплю, он начинает потихоньку нить.

— Все еще болен, — говорит он, читая бюллетень о болезни Ленина. — И сам Семашко подписывается. А тут целый город людей... Не дай бог, если с ним что-нибудь случится, тогда все мы по дворам пойдем. Он только заболел — и уже такое самоуправство! Какой-то Бечек! Целый город оставили без куска хлеба!

— Довольно! — кричу я, не в силах стерпеть это.

От неожиданности дядя опрокидывает на себя стакан чаю.

— Ну вот пусть скажет отец!.. Что я особенного сказал? — улыбается мне перепуганный дядя. — Говорил о положении...

— Ошер!.. — застывает за него отец.

— Он ничего не говорил! — удерживает меня мать. Но меня нечего удерживать. Как Каминер, я хочу, чтобы всем было хорошо и чтобы дядя это наконец понял.

— Когда вы строили ваш дом, дядя...— говорю я.
— То есть как?
— Он никогда ничего не строил.
— В компанию?
— Всю свою жизнь.
— Ну, не отпирайтесь! — выхожу я из себя. — Так вот, когда вы строили дом, — чуть не плача говорю я, — и у вас глаза на лоб лезли...

— Да что он такое говорит, боже мой!
— И у вас на лоб глаза лезли, когда недоставало дерева или еще чего-нибудь...

— Какого дерева?
— Деревянного дерева! — кричу я и раскрываю двери... Шум дождя наполняет притихшую комнату. — Так вот, когда вы строили один только домик... А теперь, когда мы закладываем фундамент для целой страны, когда недостает, чтобы прикрыть крышу... И если нету... вы хотите, чтобы нигде не протекало... чтобы было тепло...

Но так как и родители, и дядя Менаше вытаращили на меня недоуменные глаза, я, хлопнув дверью, выбегаю на двор и, взобравшись к себе на чердак, взбешенный, растягиваюсь на дедушкином топчане.

Вскоре ко мне на чердак взбирается и Сролик.

С тех пор как сгорела фабрика, он не отходит от меня ни на шаг: бегаёт на станцию за газетами, ночует со мной на чердаке.

В первый же вечер, когда Сролик пришел ко мне, он размечтался, разговорился и заявил, что если даже каждый будет ему давать по десять копеек за доставку газет, то и тогда наберется три рубля в месяц, а за год — тридцать шесть рублей, и ему хватит на билет, чтобы уехать.

Он мечтает уехать на землю или на завод, только далеко-далеко, где его никто не знает. Он будет работать и станет комсомольцем. А потом будет учиться, а когда кончит учебу, будет строить фабрики, чтобы все могли работать. И никто не будет ходить без дела. А то вдруг забудет про фабрику и мечтает отправиться в Индию или в Африку. Там он станет революционером. Мне тоже иногда приходят в голову такие мысли.

Частенько, особенно по вечерам, когда на улицах пустынно и на базаре раскачивается единственный на все местечко фонарь, на меня находит тоска и меня тянет уехать куда-нибудь далеко. Я даже начинаю

потирать себе грудь от волнения. Мне хочется уехать и совершить что-то большое, важное. Я рассказываю Сролику, что у меня есть знакомый, по фамилии Магид, и он нам поможет. Мы обнимаемся и даем друг другу слово ехать вместе. Мы лежим тогда долго-долго с открытыми глазами у нас на чердаке и никак не можем уснуть.

Я уже даже написал Магиду письмо:

Дорогой товарищ Магид! У меня ночует мой приятель Сролик, который хочет уехать отсюда со мной вместе, потому что мы оба поклялись работать и жить вместе и совершить что-нибудь большое. Но здесь мы ничего такого совершить не можем. У нас очень тоскливо. Каминер говорит, что в местечке слишком много портных и лавочников. Он недоволен тем, что нам до сих пор не дали земли и у нас нет фабрик. И мне уже надоело местечко (оно мне вовсе не надоело, но я пишу это потому, что все говорят так). Я хочу приехать к вам со своим приятелем Сроликом, чтобы вместе с вами работать, учиться и бороться за пролетариат.

Ваш Ошер.

Назавтра я пожалел об этом письме, но было уже поздно, — оно ушло. Мне обидно, что я написал Магиду плохо про местечко. Каминер уже снова весел, а это значит, что нужно ожидать добрых вестей.

Сегодня ночью мы со Сроликом, как обычно, пришли на станцию. Каминер стоял на платформе с каким-то узелком. На нем был чужой брезентовый плащ. Я бы Бечека совсем не узнал, если бы не синяя фуражка с примятым козырьком, торчащая над поднятым воротником. Меня поразил его вид: какие-то брюки, которых я не видел, начищенные сапоги.

— Вы едете куда-то? — спросил я Каминера.

— А вы чего здесь шатаетесь? — спросил он. — Что делаете здесь так поздно?

— Пришли за газетами.

— А-а, за газетами? Я еду за добрыми вестями, ребята. Ну, а ты чего съезжился? — спросил он Сролика и нахлобучил ему шапку на глаза.

— Ничего, товарищ Каминер.

— Чей ты?

— Это Сролик, сын Вениамина, — ответил я за него.

— А-а, — вспомнил Бечек, — это ты однажды удрал от отца? Любишь добрые вести?

— Очень люблю, товарищ Каминер.

— Ну, так жди их!

Но какие это вести, мы так и не узнали у него, так как подошел поезд.

— Готовьтесь, ребята! — крикнул он нам и, вскочив на подножку вагона, помахал нам рукой.

У МАТИЛЬДЫ

Вчера, доставив с вокзала газеты, мы со Сроликом забрались на чердак и принялись распаковывать их и сортировать. Кругом спят, только мы одни бодрствуем. Новости со всего света приходят сюда к нам, на чердак, и только завтра мы их разнесем по местечку.

Ленин очень болен. Всем хочется знать, как он себя чувствует. Мы начинаем читать газеты с бюллетеня и узнаем, что ему лучше. Утром мы всем сообщим, что Ленин выздоравливает. Мне очень хочется, чтобы он поскорей поправился. Поставив свечу на пол, я принимаюсь просматривать картинки в журналах, потом разглядываю плакаты, которые нам все время присылают.

Вытянувшись рядом со мной и подперев голову, лежит Сролик и читает газету. Между нами на полу потрескивает восковая свеча.

— Ошер!

Я чувствую руку Сролика на своем плече, но, погруженный в чтение, даже не отзываюсь.

— Ошер! — восклицает он снова. — Земля! Земля!

Он вскакивает и принимается размахивать газетой.

От этого крика у меня начинает покалывать в затылке. К тому же он газетой потушил свечу.

— Сролик, — умоляю я его и бегу в угол, чтобы зажать спичку, — какая земля? — Меня пугают его дикие выкрики.

— Земля! — Он сует мне газету в руки и тащит к свече. — Смотри! — тычет он пальцем. — Евреям дают землю! Всем дают землю. Мы будем работать на земле!..

Я не сразу все постигаю. Но уже через минуту и сам ору:

— Земля! Земля!

Сролик говорит, что должен немедленно сообщить об этом своему отцу, и убегает.

Спускаюсь с чердака и я. Врываюсь в дом. Там тихо.

— Земля! — кричу я. — Земля!..

— Какая земля? Что с тобой? — в испуге спрашивает отец.

— Все на землю!

— Боже мой, что случилось? — кричит мать.

Однако я не могу долго с ними разговаривать, к тому же они совершенно заспанные. Быстро раздеваюсь и валяюсь в постель. Но заснуть не могу. Надо, чтобы отец поехал на землю! Я уже рисую себе, как, встав на расвете, отправлюсь в поле пахать. А вокруг дома поля, и аисты вьют гнезда на крыше нашего сарая. Это моя мечта. Как Голда и Каминер, я мечтаю о том, чтобы закрылись все грошовые еврейские лавчонки, чтоб сгинула вековая нищета.

Утром я, как назло, проснулся очень поздно. Особенно это обидно потому, что к нам сегодня уже приходил Каминер с каким-то незнакомым человеком. Они осматривали наш сарай, и Бечек сказал, что поставит у нас лошадей и повозки, а на чердаке свалит сено.

Когда я примчался в Совет, там уже невозможно было пробиться. Люди сидели на завалинках, стояли под окнами.

— Земля! — принимаюсь я кричать еще издали. — Земля! — и показываю всем газету.

Однако никто меня не слушает. Даже отталкивают от двери и кричат, что я не такая уж важная птица и могу постоять в очереди.

— Мне нужно сообщить, что дают землю! — рвусь я вперед. — Землю!

— Здрасьте! — таращит на меня глаза кожевник Зузл и покатывается со смеху. — Здрасьте, я ваша тетя!

Оказывается, все уже знают об этом. Каминер приехал в местечко с уполномоченным, и сейчас все записываются на землю.

Жаль, что я не первый сообщил о земле! Но ничего не поделаешь! Поворачиваюсь и ухожу.

Подо мной внизу сверкает речка, и в ней отражаются вербы. Вдали чернеет куча золы, торчат обгоревшие бревна и печь бывшей фабрики. Но на душе у меня все же радостно.

Тогда я бросаюсь к школе. Хоть ребят обрадую. Покажу Голде газету, пусть и она узнает о земле.

Взлетаю на Голдино крыльцо. Дверь заперта. Новый никелированный замок уже в нескольких местах заржавел. Пригнувшись, сую газету в щель под дверь.

Однако, сколько я ни стараюсь, газеты почему-то не лезут. Схватив щепку, я принимаюсь возить ею под дверью. Что-то, однако, мешает там. Тогда я заглядываю в щель и отскакиваю как ужаленный. Оказывается, все газеты, которые я уже столько времени сую сюда, лежат нетронутыми. Матильда их не забирала.

Медленно схожу с крыльца. Мне становится страшно: не случилось ли несчастья! Я знаю, Голда обычно не могла дожидаться почтальона и постоянно посылала ребят на почту за газетами. Надо сейчас же сообщить об этом учителям, бежать к Ищенко!

Но в учительской, куда я примчался, никого нет. Все в классах. Слышно, как там стучит мел о доску, как учитель бранит кого-то. Все здесь как обычно, точно с Голдой ничего не стряслось.

Выскакиваю из школы. Отправиться в партком или в Совет? А может быть, все это чепуха? Никак не могу себе представить, чтобы Голда умерла. А потом надо мной будут смеяться и Голда рассердится. И, не раздумывая больше, я направляюсь к Матильде.

Осень. У Троковичера хмель с проволоки уже сорван, огороды перекопаны, только большие белые кочаны капусты еще сидят на своих местах. На полях еще кое-где лежат одинокие бабки хлеба. Вороны стаями ходят по стерне, наполняя карканьем осеннюю тишь.

Перейдя железнодорожную насыпь, спускаюсь почерневшей полевой дорогой к хутору. Мазанки стоят, точно голые, посреди поредевших садов. Скирды хлеба, прижатые крест-накрест лесинами, желтеют в каждом дворе. Только у домика Матильды нет даже стога сена. Одиноко торчит красная черепичная крыша, и рядом прислонился высокий голый тополь.

Осторожно подкрадываюсь к дому. На кирпичах стоит чугунок воды, под ним погасшие головешки. Под крышей висят початки кукурузы, связки мака, подсолнухи.

Пробую открыть дверь, но она заперта. Единственное маленькое окошко прикрыто ставней. Может быть, Матильда и Голда в саду или на огороде? Обхожу дом вокруг. У стены лежит куча картофеля, на нем еще сырая

земля. Значит, его недавно выкопали. На завалинке — книжка. Стало быть, Голда никуда не уезжала.

— Голда! — кричу я обрадованный. Поскорей бы рассказать ей все новости!

— Олда! — отвечает мне эхо, и вспугнутая ворона начинает кружить над тополем.

— Матильда!

— Ильда! — отвечают голоса со всех сторон.

Это мне нравится. Принимаюсь без конца кричать, просто так, от нечего делать. Охрипший возвращаюсь во двор и, стаив подсолнух из-под стрехи, присаживаюсь на завалинке и принимаюсь грызть семечки. Надо подождать, решаю я, вероятно, они скоро придут.

Но, кажется, в комнате кто-то ходит, вроде кто-то простонал. Прикладываю ухо к двери. Нет, мне почудилось; ничего внутри не слышно. Но не успеваю я сесть на место, как до меня снова доносится какой-то шорох.

Может быть, они спали и теперь встают? Стучу в дверь, но никто не отзывается. Тогда я подхожу к окну. Открываю ставень и заглядываю внутрь. И вижу что-то ужасное. Хочу крикнуть, но не могу.

Матильда стоит на коленях спиной ко мне. Она отвешивает желтому глиняному полу поклоны. Над Матильдой у потолка висит чуть светящаяся лампада. В ее дрожащем красноватом сиянии я внезапно замечаю Голду.

Она лежит в постели, и высокая спинка кровати заслоняет ее всю. Видна только голова и рассыпавшиеся по подушке волосы. Ее страшные остекленевшие глаза испуганно остановились на мне. Мокрый, поблескивающий лоб стягивается морщинами, и красная струйка крови появляется у закушенной губы.

— Голда! — кричу я изо всех сил и рву к себе окошко.

Но Голда начинает еще больше метаться. Матильда вскакивает с пола и, подбежав, перегибается над ней так, что целиком заслоняет ее.

Я уже не вижу Голды, но внезапно слышу ее ужасающий крик. Тут же, обессиленный, оседаю вниз. Долго-долго несутся в поле эти крики. Даже вороны поднимаются с соседних огородов и испуганно улетают прочь.

А потом становится тихо. Наступает такая тишина, что я слышу, как падает листок с тополя, как пролетает бабочка и исчезает за домом.

Еще доносится еле слышный стон Голды. И вдруг он прерывается слабеньким, отрывистым «у-а», точно возле нее вскрикнул ребенок.

Кидаюсь к двери и принимаюсь рвать ее с петель, стучать кулаками и ногами. На пороге появляется Матильда. У нее засучены рукава, и на руках кровь, но круглое рябое лицо улыбается.

— Бэ-э-э,— говорит она еле слышно.

Но именно эта улыбка заставляет меня повернуться и бежать.

Несусь стремглав и все время спотыкаюсь. Горе гнет меня, и слезы застилают мои глаза.

САМЫЙ ПЕЧАЛЬНЫЙ ДЕНЬ В МОЕЙ ЖИЗНИ

С утра до ночи не утихает возня наших коллективистов. Во двор к нам уже не войти. Здесь полно телег, борон, плугов. В воздухе стоят запахи конского навоза, дегтя, ременной упряжи. Даже ночью, лежа в постели, я чувствую эти запахи и слышу, как сладко жуют сено десяток лошадей.

Если б не школа и газеты, я бы теперь не вылезал из конюшни.

Несколько дней подряд я бегал следом за Каминером и помогал ему: в самую рань мчался в слободу звать крестьян, которые учат наших коллективистов пахать. Отец Сролика чуть не покалечил лошадь. Председатель соседнего сельсовета Близнюк ругает его за то, что он слишком сильно нажимает на плуг,— вести его надо легко и смотреть, чтобы отваливался ровный пласт, чтобы была одинаковая глубина вспашки.

В марте наш коллектив имени Ленина выедет в Херсонскую губернию. Сейчас Каминер собрал извозчиков. Они показывают, как надо обращаться с лошадьми, как запрягать, как ездить верхом. Из-за всего этого я бываю очень занят.

Каждый вечер я читаю нашим коллективистам газету, главное — бюллетень о состоянии здоровья Ленина.

Дни нынче коротки. Как только стемнеет, в конюшни зажигают «летучую мышь». Рассаживаются кто где: на соломе, на повозках,— и льется тихая беседа. Говорят обо

всем на свете, но больше всего о весне, которая скоро придет, о том, как выедут в поле.

Никогда еще я не видывал таких счастливых глаз, как здесь, когда под потолком горит фонарь, лошади жуют овес, а Каминер рассказывает людям о лете в степи, о высокой пшенице, о Днепре, по которому ходят пароходы.

Когда я после этого вхожу в дом, мне плакать хочется оттого, что я не еду туда, что не буду пахать, не выйду на рассвете убирать хлеб.

Но вот уже третий день, как кончились разговоры о Херсоне. Теперь люди всюду толкуют о Голде. Мама даже стала оплакивать Басю-кожевницу, дожившую до такого позора. Шепчутся из-за того, что позавчера Голда пришла в местечко с ребенком.

Я хоть давно знаю о ребенке, но как-то неловко было зайти к ней. Но раз над Голдой смеются, значит, обязательно навещу. Голду уже посетил Каминер, заезжал Ищенко.

Сегодня вечером я набрался храбрости. Тихонько открыв хорошо знакомую перекошенную дверь в сени, я долго отряхивал снег с ног, потом с бьющимся сердцем взялся за щеколду. Однако приподнять ее я не смог, так как она примерзла.

— Войдите! — услышал я голос Голды, и тотчас открылась дверь.

Открыла мне мать Голды. По-видимому, в сумерках она меня не разглядела, поэтому наклонилась ко мне так близко, что я увидел морщинки на ссохшемся ее лице, седые волосы, выбившиеся из-под черной шали. Она часто-часто качала головой.

— Ах, это ты? — еле выговорила она, затем сразу отвернулась, подошла к маленькому окошку и стала оттирать пальцем лед, намерзший на стеклах.

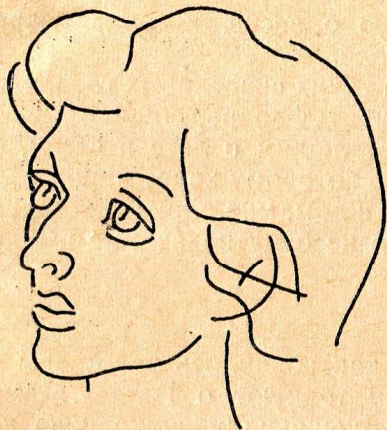
Голда попросту кивнула мне головой, как если бы мы расстались с ней только вчера.

— Садись, Ошер!

Я разглядываю свивальники, развешенные по всей комнате, и молчу. Однако почему сама Голда ничего не говорит? Тяжело так сидеть.

— Принес вам газеты,— говорю я.

— Спасибо, — отвечает она, но не берет их у меня. Она



сидит на скамеечке у плиты и покачивает легкую зыбку.

Отсветы из топящейся плиты ложатся на земляной пол и стену красными трепещущими пятнами. Они падают и на Голду.

Я замечаю, что волосы у нее стали пышней и мягче, лицо чуть вытянулось и потемнело. И может быть, потому, что накрытая одеяльцем колыбель выглядит как шатер, может быть, из-за пламени в печурке, но Голда представляется мне сейчас цыганкой у костра.

— Чего я сижу? Ну, чего я сижу, ты не знаешь? — Она вскакивает со скамейки и встряхивает, как всегда, головой так, что вся копна черных волос ложится у нее, как причесанная.

Словно не зная, за что взяться, она бесцельно ходит по комнате, затем начинает снимать развешенные на веревках свивальники и пеленки, разглаживать их пальцами и складывать в корзиночку.

— Ну, мама, я ухожу, — говорит она и оборачивается ко мне: — Ошер, поможешь донести корзинку к Троковичеру? Не могу же я бегать сюда из школы! Ладно?

— Ладно, — отвечаю я, хотя мне уже пора на вокзал за газетами. — Голда, — стараюсь я прервать наступившее молчание, — у нас в конюшне находится все имущество коллектива имени Ленина.

— Знаю. Здесь был Бечек. Он все рассказал.

Раз Голда знает о коллективе, мне опять не о чем говорить с ней. А она, как назло, ни о чем не спрашивает.

— Голда, я получил письмо от Магида. — Надо же что-нибудь говорить. Правда, письмо это я получил несколько месяцев тому назад. — Магид шлет вам привет и расспрашивает о вас.

— Ты ему что-нибудь обо мне писал?

— Нет, не писал.

— И не пиши. Сама напишу. Он еще в Харькове?

— Нет, в Москве. Я ему писал, что хочу ехать учиться. Он ответил, чтобы я приезжал.

— И много ребят едет?

— Да, Голда, много. Закончу школу и поеду... И буду писать вам письма.

— Человечек! — Она глядит мне в глаза, и уголки ее губ так улыбочиво приподнимаются, что в темноте сверкает белая полоска зубов. — И кто говорит об отъезде! Послушай, мама, кто тут разговаривает о Москве!

Но мать не отзывается. Голда вновь хмурится. Она надевает жакет и поверх набрасывает шаль. Протянув мне веревочку от колыбели, она просит меня покачать ребенка, пока она сходит за охапкой дров.

Как Голда, присаживаюсь на скамеечку около печки и принимаюсь покачивать зыбку.

— А-а-а, — напеваю я при этом. — А-а-а.

— дождалась на старости лет! — говорит мать. — Господи! — Я вижу ее воздетые руки, раскалывающие заходящее зимнее солнце. — Отец небесный! Чтоб его так разломило, как он изломал мою жизнь и жизнь моей дочери!..

— В чем дело? Ты опять за то же? — Голда входит и тихонько складывает у плиты дрова.

Бася сразу же перестает плакать. Но она не оборачивается и не отвечает Голде. Видно только, как еще больше дергается голова и трясутся ее плечи.

Усмехнувшись, Голда подходит к кровати и растялает теплое одеяльце. Затем она наклоняется к зыбке и вынимает оттуда спящего ребенка.

— И ты, Ошер, был когда-то таким карапузом! — говорит она и осторожно берет ребенка на руки.

Предо мной красноватое круглое личико, вздернутый носик и пухлые, чуть приоткрытые губки, сладко чмокающие во сне.

Голда несет ребенка к кровати и закутывает его в одеяло так, что из свертка выглядывает только вздернутый носик.



А Голда, как и раньше, вновь стройная, тонкая, надевает свой казакин, обшитый беличьим мехом, и, повязавшись белым теплым платком, берет на руки ребенка. Я подхватываю ее корзиночку и иду вслед за ней.

— Ну, доброй ночи, мама!

— Будьте здоровы!

Но, выйдя на улицу, которая ведет к базару, Голда останавливается и, отвернув шаль, осторожно оглядывается по сторонам. Затем она поворачивает голову в сторону церкви. Торжественные колокольные звоны, то низкие — басовые, то высокие, разносятся по за вечерешнему местечку.

— Суббота сегодня, что ли?

— Да, суббота.

Голда поднимает голову к низкому облачному небу и как будто разыскивает там звездочку. Она, кажется, рада, что нигде в домах еще нет огней.

На вечерней улице почти никого нет. Над синими заснеженными крышами вздымаются дымки. Они то вьются столбом к красно-сизому небу, то, покачиваясь, ползут к земле. Видно, в поле ветер, но здесь от него заслоняют дома. Все же время от времени земля начинает куриться, сыплет снегом в лицо, а колокольные звоны то приближаются, то вдруг уходят куда-то.

Навстречу нам, по-видимому, из синагоги, идет Вениамин. Руки у него заложены в рукава, голова втянута в воротник, так что торчит один только нос. Позади него торопливо шагает до глаз укутанная женщина.

— Ошер! — тянет меня за рукав Голда и поворачивает назад.

— Куда, Голда?

— Понимаешь, ветер...

И она пробирается заборами, а потом и вовсе идет задами. А чуть где-нибудь хлопнет дверь или послышится голос, она сразу жмется к какому-нибудь углу и спешит все время так, что я еле успеваю за ней.

— Зачем мы плетемся дворами? Пойдемте, Голда, улицей.

— Что? — испуганно спрашивает она. — О чем это ты, Ошер?

— Ведь ветра уж нет.

— Да, да! — Она выпрямляется и скидывает голову так что с платка сыплется снег. — Да, да! — выкрикивает

она в ярости. — Ветра действительно нет. И чего мы тут ползаем?..

Она выше поднимает ребенка и выбирается на шоссе. Голда теперь не торопится. На шоссе прохожих больше, и я замечаю, как встречные вглядываются в нее, а потом, остановившись, долго смотрят вслед.

Голда не оборачивается. У ее бровей появляются хорошо знакомые бугорочки гнева. Глаза под длинными заиндевевшими ресницами загораются и щурятся навстречу базарному фонарю.

На базаре уже зажглись огни. Светятся окна кооперации. Вижу сквозь распахнутые ворота нашей конюшни огонь «летучей мыши».

— Вон он, наш коллектив, — показываю я в ту сторону.

— Что?

— Вон он, коллектив. Давайте зайдем — посмотрите!

— Ладно, зайдем! — И она заворачивает к нам.

Я беру ее за руку, потому что в конюшне не пройти из-за повозок, плугов, борон.

— Осторожно, Голда.

В конюшне полумрак. Никого нет. Слышно только, как с чердака сбрасывают сено и кто-то возится у лошадей.

— Вот это, Голда, шлеи, — весело говорю я. Потом я подвожу ее к развешенным по стенам уздечкам, вожжам и другой упряжи. — А вот наши лошади. Они едят из яслей. Это бороны.

— Кто это там распоряжается? — Из-за лошадей появляется насмешливое лицо Зузла.

— Ты что это, людей не узнаешь? — оживает Голда. Она подходит к повозке и облачивается о лестничную перекладину, чтобы легче было держать ребенка. При этом она его чуть покачивает, чтобы он не проснулся. — Загордился, Зузл?

— О-о, да ведь это Голда!.. И с наследником! — кричит он весело и, подмигивая ей глазом, покатывается со смеху. — С наследником!

В доме раскрылась дверь, и на порог вышла мама. Сролик, сбрасывавший сверху сено, просунул голову сквозь доски настила и с испугом смотрит на Голду. Соседка Хая-Сора тоже уже сунула сюда свой нос. У ворот конюшни столпились женщины.

— Зузл! — говорит Голда, поглядывая на женщин и медленно подступая к нему. Она снимает несколько соло-

минок с его колушка и шапки и подносит их к самым глазам Зузла. — Солома набилаь и, видно, щекочет тебя.

— Какая солома?— теряется он и начинает отряхиваться.

— Не сюда, а в голову,— говорит она, вся дрожа.— Что это тебя сегодня смех разбирает?

— Гляди-ка, и слова нельзя сказать об ее наследнике! — упрямствует Зузл и пытается даже рассмеяться.

— Терпеть не могу, когда без причины скалят зубы, понял, Зузл?...— кричит она и зовет маму, которая уже хотела скрыться в дом.— На минуточку, Лея! И вы, Хая-Сора! Все, все! — Она зовет мужчин и женщин, столпившихся у ворот.

Некоторые тотчас стушевываются, остальные подходят ближе. Тишина такая, что слышно, как сопят носы, как кони жуют овес и позвякивают цепями у яслей.

— Голда, — протискивается ближе расстроенная мать, — как ты поживаешь? Как чувствует себя дитя?

— Говорят, замечательный ребенок, — кутаясь в шаль, замечает Хая-Сора и сладенько улыбается.

— Кто это говорит?

— Говорят. — И Хая-Сора пятится назад, точно боится пощечины.

— Дай ему бог здоровья! — Голда поднимает ребенка. — Велвел зовут его, Лея.

— Пусть живет в довольстве и чести!

— Спасибо, — отвечает Голда.

И мама, плачущая по любому поводу, принимается утирать глаза кончиком платка.

Когда все разошлись, сверху спустился Сролик. Растрепанный, подходит он к Голде:

— Добрый вечер.

— А-а, Сролик? И ты уезжаешь?

— Я уезжаю с отцом, товарищ Голда.

— И много семейств отправляется? — спрашивает она теперь Зузла, точно и не бранила его.

— Ленинцев — тридцать семейств, товарищ Голда. А сейчас Каминер организует новый коллектив.

— Замечательно! — Она снова оглядывает гору плугов, борон, повозок. — Я как-нибудь еще зайду. Ну, будьте здоровы!

— Может быть, запрячь сани, товарищ Голда, подвезти?

— Не стоит, Зузл. Здесь уже недалеко. Вечер вам добрый. — И Голда выходит из конюшни, останавливается у фонаря, — она давно не видела базара и удивляется тому, что лавчонок стало меньше.

— Меньше, конечно, Голда. Вон, смотрите! — указываю я ей на ряд рундуков. На некоторых висят сургучные печати, другие вовсе заколочены.

— Меньше лавчонок, — говорит она как бы про себя, — а ленинцев больше. Кому пришло в голову дать коллективу имя Ленина?

— Всем, Голда. И мне и Бечеку. А вам нравится?

— Нравится, Ошер. — Она шагает со мной к школе, не обращая внимания на то, что встречающиеся останавливаются и с любопытством разглядывают ее и ребенка.

— А еще Каминер предложил послать Ленину письмо. Он болен... И любит нас.

— Это идея, — спохватывается Голда. — Ты сегодня увидишь Бечека?

— Нет. От вас я сразу помчусь на станцию.

— Надо бы, чтоб он ко мне зашел. Мы вместе составим письмо.

— И я тоже, Голда. Я завтра зайду к Каминеру.

— Ладно, пускай завтра! Сегодня поздно.

Уже совсем темно. По обе стороны дороги тянутся пустынные поля. Становится морозней, крепче бьет снег в лицо. Редко-редко мелькнет огонек одинокой заснеженной хатки.

У Голды окно уже светится, в доме дымят все трубы.

— Пришла Матильда, — говорит Голда и, заслоня ребенка от ветра, быстрее идет к дому.

Я останавливаюсь у крыльца.

— Доброй ночи, Голда.

— Доброй ночи, Ошер.

Заснеженными полями направляюсь к станции.

В последнее время наша станция делается все оживленнее. Сюда являются люди с корзинками, узлами, постелями и уезжают в далекие края: в Харьков, в Петроград, в Москву.

В зале ожиданий, где под самым потолком горит маленькая лампа, холодно и неудобно. На красных четырехугольных плитках пола лежит нарастающий снег. Я не

люблю здесь сидеть. Я подружился с долговязым, худым телеграфистом и со Шкабурой и часто посиживаю либо в кассе при выдаче билетов, либо в комнате начальника станции, где топится железная печь и постоянно жарко.

— Добрый вечер, товарищ Шкабура! — говорю я, появляясь в клубе морозного пара.

Шкабура бормочет что-то под нос и ворчит — я напустил ему в комнату холод. Вскоре он начинает прислушиваться к крику за стеной и хлопанью вокзальных дверей.

— И чего это теперь так много разъезжают? — спрашивает он.

— Отправляются искать работу в городах, товарищ Шкабура. Едут на землю. И я тоже.

Я собираюсь рассказать ему, что вскоре уеду к Магиду. Но Шкабура уже клюет носом в телеграфный аппарат. Потом он вдруг просыпается:

— Что ты сказал?

Он протирает голубоватые, водянистые глаза, затем, взглянув на большие тикающие часы, успокаивается и вновь начинает дремать. Он не слышит даже стука телеграфного аппарата, его не пробуждает телефон, который каждый раз так неожиданно звонит, что я вздрагиваю.

Мне видны только сдвинувшаяся набок фуражка начальника с красным верхом, белая свеча в фонаре с бордовым и густым зеленым стеклом, поблескивающая медь телеграфного аппарата и два никелированных звоночка на желтой коробке телефона.

Пододвинув полено, я усаживаюсь подле железной печи и принимаюсь совать туда щепки. Дрова загораются, трещат, рассыпая кругом искры и наполняя комнату прыгающими огненными пятнами.

Но чем ярче, чем веселей потрескивает в печурке, тем гуще наливается чернотой большое промерзшее окно. За стеклами не видно даже рельсов. По-видимому, потух фонарь на платформе. Слышно только, как пронзительно-тонко, точно кого-то оплакивая, посвистывает в проводах ветер.

— Товарищ Шкабура, поезд опаздывает? — спрашиваю я, когда начальник вновь начинает протирать глаза и смотрит на часы.

— Как так? — настораживается он.

И в самом деле поздно, пора билеты выдавать.

Как всегда перед приходом поезда, он приосанивается. Низенький, толстенький, он сразу как-то надувается, поправляет фуражку на голове и проверяет, застегнут ли он на все пуговицы.

— Как это опаздывает? — спрашивает он снова.

— Метель! — показываю я на окно. — Вьюга пути заносит.

— Чего заносит? — раздражается он, так как не терпит, когда говорят дурное об его участке. — У меня снег чистят! У меня следят! Наконец щиты...

— Ясно, щиты, — повторяю я, — конечно, не заносит.

Я подсаживаюсь поближе к нему. Его важность, уверенность передаются мне и делают меня тверже. В сотый раз начинаю разглядывать провода, спускающиеся с потолка к телеграфному аппарату.

— Что ж, они до самой Москвы доходят? — спрашиваю я почти шепотом. Мне уже много раз говорили, но я никак не могу себе представить, что они такие длинные.

— Конечно.

— И до самого Ленина?

— Что?

— Я спрашиваю: и с Лениным вы можете говорить по этим проводам?

— Конечно.

— А там он тоже должен сидеть у такого провода?

— Шкабура... — Он чмокает губами, и его заспанное, старообразное лицо становится торжественным. — Шкабура все может... Даже к Ленину...

Он уже не слышит, что я ему рассказываю о письме, которое наши коллективисты собираются послать по этим проводам. Он говорит о своем телеграфном аппарате. Вот он взгромоздил на нос проволочные очки и показывает, как телеграфируют. Правой рукой он берет ручку аппарата и начинает ею стучать.

— Шкабура может телеграфировать... даже Ленину, — тянет он, так как читает при этом узкую бумажную ленту, на которой прыгают точки и тире. Он пригнулся к ленте и читает там что-то.

— Даже в метель можно? — спрашиваю я.

— Что-что? — Он сдвигает в испуге очки на лоб и раскрывает рот, потом бросает на меня такой взгляд, что я отодвигаюсь подальше. Приоткрыв дверцу фонаря, он

опять припадает к ленте, которая между тем медленно ползет по столу.

— Что там? Что-нибудь сломалось в аппарате?

— И чего ты пристал? Отойди!

Я впервые вижу Шкабуру таким свирепым. Он затыкает уши пальцами и стоит неподвижно, уткнувшись глазами в ленту.

В мертвенной тишине лишь стучит аппарат и неимоверно громко тикают часы.

Я уже подобрался к самой двери, но боюсь открыть ее. Громко стучат в кассу. Поезд должен вот-вот прибыть.

— Кассир! — кричат у билетного окна. — Билеты!

— Начальник! — барабанят в стену. — Поезд!

— Чего им нужно?

Шкабура хватается за голову и подбегает к окошечку, но, не открыв его, припадает вновь к аппарату, вытягивая дрожащими руками ленту, которая уже соскользнула со стола и извивается по полу.

Пассажиры ворвались в комнату. Они требуют билеты. В раскрытую дверь лезут клубы морозного воздуха. Холодный пар стелется по полу, затем поднимается к потолку, и затуманенная лампа глядит красным глазом, точно из облака. Вместе с холодом в комнату врывается далекий свист приближающегося поезда. Расстроенные пассажиры бегут на перрон. Оставшиеся смотрят на начальника, который стоит, точно столб, посреди комнаты. Паровоз кричит уже давно, ревет, просится, чтобы его впустили сюда из морозной черной дали.

— Семафор! — вздрагивает Шкабура. — Боже мой, семафор! — и без фуражки, без тулупа, расталкивая пассажиров, кидается на платформу.

Вместе со всеми пассажирами бросаюсь и я вслед за начальником. Над нами, над бесконечным мраком — только ветер, снег да непрекращающийся рев паровоза.

Шкабура в темноте поворачивает колесо, открывающее семафор. Ухватившись за ручку, помогаю ему и я.

Раскалявая ночь снопами света, обдавая им сразу рельсы, падающие снежинки, опешивших пассажиров, подкатывает к станции горячий паровоз.

От сияющих вагонных окон становится ослепительно светло. Из мрака тотчас выскакивают тополя. Борясь с ветром, они мечутся из стороны в сторону, совсем нагие. Где-то на крыше стучит оторвавшийся кусок жести.

С паровоза кубарем слетает замасленный машинист. Отыскав Шкабуру, он угрожает ему всякими карами. Из вагонов выползают заспанные пассажиры. Все ругают начальника станции за то, что он задержал поезд у семафора.

Но Шкабура только разводит руками и заикается. Ветер треплет его белесые редкие волосы. Снег ложится на плечи, на черную тужурку, которая стала совсем рябой.

— Телеграмма... Не мог... — чуть слышно говорит он, так что машинист даже наклоняется к нему. — Телеграмма... Ленин умер!.. Ленин!.. — визгливо выкрикивает он внезапно и убегает.

Сначала я даже не понял, что он сказал. Все стало ясно только тогда, когда машинист сорвал с себя замасленную кожаную фуражку, а у некоторых на глазах появились слезы.

Я не заметил, как сошел с платформы и плетусь по колено в снегу. Я уже залез в яму, наткнулся на дерево в темноте. Надо мной навзрыд плачет вьюга. Ее завывание сливается с шумами паровоза. Но не метель, не глухая ночь виною тому, что я внезапно ощутил дикую пустоту. К смерти я уже привык, видал зарезанных, задушенных, застреленных, отравленных, людей на смертном ложе, но впервые до боли в сердце, до крика в глотке я почувствовал, что такое смерть.

И, обхватив дерево, прижавшись лбом к его обледенелой коре, я стою во мраке под ветром и плачу.

ПОЕЗД ОТХОДИТ...

В конце марта, как только прилетели первые аисты, коллектив имени Ленина снялся и уехал. Стало совсем скучно. В конюшне осталась разворошенная солома, кучи конского навоза и невыносимая тишина.

Но уехал не только коллектив имени Ленина. Все местечко как-то стронулось. Кажется, будто все оно перекочевывает. Во многих домах по ночам уже не увидишь света, — там заколочены окна. А в домах получше разместились недавно организовавшиеся артели портных, сапожников, плотников.

На базаре совсем тихо. Мне все время кажется, будто у нас непрерывный праздник. Торговцы побогаче закрыли лавки и переселились в большие города. Немало бывших лавочников уехали с коллективом. В лавке Лейтеса теперь торгует кооперация.

На базаре уже начали разбирать рундуки. Здесь, на площади, посадят деревья. Каминер предлагает посреди местечка устроить парк — «как в Николаеве».

Пришло в нашу жизнь что-то новое, большое и светлое, что наполняет каждого надеждой, влечет в широкий, светлый мир.

У меня на душе тоже радостно. Однако мне трудно свыкнуться с образовавшейся вокруг пустотой. Я тоскую по уехавшим. Не представляю себе, как это я больше не увижу Сролика или нашу соседку Хаю-Сору. Она уже не придет летом одалживать укропу, а зимой — горячих угольков для казанка.

Когда уезжал коллектив, я долго бежал вслед за красными товарными вагонами, откуда махали шапками и платками и из широко раскрытых дверей которых неслись и шутки и плач. Не отрываясь глядел я вслед последнему вагону, пристально следил за дымом, который таял, расползлся и исчезал в чисто вымытом небе.

За дымом я следил внимательно, потому что перед отходом эшелона состоялся митинг. Ищенко и Голда выступали с речами. Говорил и Каминер. Он кричал, что после тысячелетия унижений и кабалы мы берем наконец свою судьбу в собственные руки. Показывая на дым, который валил из трубы паровоза, Каминер сказал, что бесправие и нищета развеются теперь, как этот дым.

Все местечко стояло тогда вокруг вокзала. А потом, когда эшелон ушел, мы узкой межей среди изумрудных зеленей гуськом пробирались к себе обратно. Впереди шел музыкант Кальмен-Йоса со скрипкой под мышкой. Шли Голда и Ищенко, шагал Наум-барабанщик с барабаном на животе, потом двигались женщины, девочки, мальчики. Позади всех шли Каминер и я. Перед глазами у меня мелькали ситцевые платки, шелковые цветастые шали, картузы, косички девочек, черные шарфы, пиджаки, рубашки.

Бечек был в хорошем настроении. Не оборачиваясь, он спросил меня:

— Так что же, Ошер, и ты покидаешь нас? А много, ой, много у нас работы!.. Ладно уж, поезжай!

Отъезд мой оказался неожиданным, несмотря на то что я долго к нему готовился.

Все окончившие школу покидают местечко. Позавчера уехал Буля. Один лишь Зяма не спешит, — он не может оставить больную мать.

Сегодня я прощался с Рахилью. Она поступает в медицинский.

— Ошер, — сказала она мне при прощании, озабоченно глядя на желтую песчаную дорогу, исчезающую где-то за высоким облаком, — мне чего-то страшно. Я боюсь чужбины.

— А я ничего не боюсь... Ну, будь здорова! — ответил я и подал ей руку, собираясь поскорей уйти, так как терпеть не могу прощаний.

— Не желай мне, Ошер, здоровья, пожелай лучше смелости и отваги...

Голда недавно собрала нас всех и наставляла.

— Мы должны быть отважными и смелыми, — сказала она, — потому что выходим в широкий мир. И нам нечего надеяться на какие-то руки, которые поведут нас. Беззаветно преданные нашему делу, с высоко поднятой головой, без страха и сомненья, шагайте вперед! Вам будет трудно, очень трудно, но вы добивайтесь своего! Доведите до конца дело, которое начали ваши старшие товарищи. И главное, ребята, — закончила Голда, — не гонитесь за тихой, гладенькой жизнью! Не становитесь обывателями в душе! Мечтайте, дерзайте — и вы победите!

Отвечал ей Зяма. Он бил себя в грудь и заявлял, что мы беззаветно преданы нашему делу, что мы выросли и окрепли и без всякого страха выходим в широкий светлый мир. Он говорил, а мы кричали «ура!». Потом мы пели «Вставай, проклятьем заклейменный...». Пели так громко и с таким воодушевлением, что прохожие останавливались и снимали шапки.

После этой беседы с Голдой я стал совсем примерным — говорю спокойно, тихо, не горячусь, не бегу сломя голову, не прекословлю родителям. Я помирился даже с дядей Менаше.

Но мама ведет себя последние дни совершенно несносно. Ее большие черные глаза теперь постоянно в красном ободке и припухли. Она не дает покоя отцу — все допытывается у него, что это произошло с ее домом:

у нее было шестеро детей, а теперь ей, видно, придется жить среди голых стен.

Но это еще не все. Чтобы меня не обокрали, мама зашила мне в карманы восемь рублей серебром и медяками, и теперь я вынужден придерживать карманы руками, потому что при малейшем моем движении раздастся такой трезвон, точно я пожарный. Кроме того, она зашила мне в рубаху еще старый кошелек отца, где лежат пять трехрублевых и пятерка, которые я скопил себе на дорогу.

В доме делается бог знает что. Мама с утра до вечера упаковывает и распаковывает узлы и каждый раз что-то вспоминает и сует в мешок какую-нибудь новую вещь.

Кроме багажа, она дает мне ручную сумку, в которую положила два хлеба, яйца, соль, жареного петуха, гречневые коржи, яблоки, зеленую бутылку с молоком и банку меду. А к сумке она еще привязала маленькую сумочку с подсолнухами, подушечку и синюю эмалированную кружку.

Зяма, увидев мой багаж, расхохотался. А тут еще отец принес от столяра мой сундук с железной ручкой. Зяма, покряхтывая, приподнял его и сказал, что в таком сундуке я могу свободно спать. Мама обиделась на Зяму и прогнала его. В этот сундук уложено мое зимнее пальто с барашковым воротником, шапка-ушанка, нижнее белье, полотенца, ложка, вилка, нож и две тарелки.

В большую рогожу отец упаковал свое ватное одеяло, две большие подушки и еще какие-то вещи из ваты и пуха. Все это он накрепко обвязал веревкой, при помощи которой у нас доставали воду из колодца.

Наконец мои вещи сложили в угол, и мама накрыла стол красно-сине-зеленой скатертью с бахромой и на табуретке возле стола поставила кипящий самовар.

Отец садится за стол и покашливает. Он собирается вести со мной разговор о большом мире, хотя сам ни разу его не видел. Он рассказывает мне, как нужно остерегаться в нынешние времена. А мать сразу же поднимает плач. Она никогда никуда не выезжала. Утирая глаза платком, она требует, чтобы я дал ей слово, что не буду бегать сломя голову и ни с кем не затею драки.

Меня от всего этого корбит. Я говорю родителям, что мне нужно попрощаться с соседями, и ухожу.

Прежде всего захожу к цирюльнику Киве. По случаю моего отъезда он смачивает мне голову особой жид-

костью, от которой волосы мои слипаются и страшно блестят. Уступая моей просьбе, он бреет меня, то есть скребет лицо бритвой и брызгает чем-то, от чего на глазах появляются слезы.

После этого я направляюсь к другим соседям.

— Уезжаешь, Ошерка?..

Меня всюду просят присесть и угощают чаем. Лишь после этого мне желают счастливого пути, а родителям моим — дожидаться от меня добрых вестей.

Я согласно киваю головой.

Замечаю, что люди пожилые улыбаются мне и поглядывают на меня как-то робко, несмело, точно я старше и лучше их. Благодарю всех и спешу уйти, так как не в состоянии выхлебать столько чаю и мне непривычно так долго разговаривать с пожилыми людьми.

И на улице мне не дают покоя. Каждую минуту встречаю какого-нибудь знакомого и вынужден остановиться с ним. Я побывал во всех артелях. У меня уже как будто и руки вспухли.

А в доме у нас полно народу.

— Дорогой ты мой, — говорит Каминер, — что же это ты не зашел попрощаться?

— Я только что собирался к вам, в Совет... И к вам, товарищ Голда.

За круглым столом сидит много народу. Пьют чай. По стенам покачиваются кривые тени. Мама не перестает снимать со шкафа банки с вареньем, которые стоят у нее там годами. Она достает их только по большим праздникам или когда кто-нибудь болен. Каминер тянет из розетки райские яблочки за черешки. Голда сидит безучастно.

Отец и мать явно польщены тем, что пришли Каминер и Голда. Я узнаю это по тому, что мама прячет руки под передник, по ее дружелюбной улыбке, по ее умилению. Отец степенно поглаживает бороду. Сидя рядом с Каминером, он поминутно поглядывает то на кухонную дверь, то на окна: там стоит много соседей, которые стесняются войти в дом из-за Каминера и Голды.

— Да что вы там стоите? Заходите сюда! — приглашает отец.

Постепенно соседи заполняют комнату. Каминер, по привычке, начинает говорить о том, что, вероятно, скоро можно будет послать на землю еще один коллектив,

а в местечке начнут строить кирпичный завод и восстановят мебельную фабрику. Потом он рассказывает о том, что недалеко от нас имеются залежи камня, который называют «лабрадор», и уже скоро начнутся разработки его.

Голда бросает взгляд на часы и застывает в испуге.

— Лея, — кричит она маме, — почему вы не гоните меня? Ведь у меня там ребенок.

— Да подожди же! Чего ты спешешь? — пытается удержать ее Каминер.

— Ну, что ты понимаешь? — смеется она ему в лицо. — Что ты, председатель, понимаешь в коклюше? Вот мы с Леей, — она кладет маме руку на плечо, — мы хорошо знаем, сколько мук примешь, пока вырастишь вот такого парня, как Ошер.

А маме больше и не нужно.

— Ну, Лея! — успокаивает ее Голда. — Ему уже пятнадцатый год. Он у вас закаленный, и ничего его не пугает.

От маминого плача всем становится тоскливо.

Каминер встает и говорит, что ему надо идти.

— Ну, Ошер, чего же тебе пожелать? — спрашивает Голда и подает мне руку.

Но я говорю, что выйду их проводить.

На улице Каминер берет мою руку, долго держит ее, затем так сжимает пальцы, что у меня перехватывает дыхание.

— Что ты делаешь? — Голда пытается разжать руку Каминера.

— Пустяки! — лепечу я, стиснув зубы. — Ничего!

— Так, так! Не поддавайся! — кричит Каминер, точно он именно такого ответа и ждал. Он обнимает меня и целует. — Поезжай, поезжай, Ошер! — говорит он, поворачивается и, не оглядываясь, уходит. Потом уже издали он кричит мне: — Ошер, не забудь письмецо черкнуть!

— Напишу! — отвечаю я.

Не проронив ни слова, я провожаю Голду до самой окраины.

— Будь здоров, Ошер! — говорит она мне на прощанье. — Приветствуй Магида! И как только приедешь, напиши.

Гляжу мгновение в теплые глаза Голды, на ее белый воротничок, ставший голубым под луной, бросаю взгляд

даже на ее туфли, увязшие каблуками в поблескивающим песке.

— Будьте здоровы, Голда! — Я впервые жму ее холодную маленькую руку и, точно боясь чего-то, быстро поворачиваюсь и ухожу.

Почувствовав, что Голда уже далеко, я замедляю шаги.

Никак не могу себе представить, что я прохожу по местечку в последний раз, что завтра я его уже не увижу. Спрятавшись за деревом, я высовываю голову, чтобы увидеть, как оно будет выглядеть без меня, когда я уеду. С бьющимся сердцем слежу за дорогой. По обе стороны ее, белесо-голубой от луны, полной теней, замерли черные, высокие тополя, разросшиеся акации, стройные ясени.

Сегодня очень светлая ночь. Они теперь так коротки, что хоть сейчас и не поздно, а будто уже светает, — со всех сторон точно ртутью налиты белые, сияющие горизонты. Видна каждая веточка, каждый посеребренный лист тополя. Даже тонкие сережки цветущей у дороги ржи и те хорошо видны.

На одной из крыш я замечаю кошку, которая, напряженно выгнув спину, вглядывается куда-то зелеными круглыми глазами и слушает пение ночной птицы. Когда птица улетает, до меня доносится скрип колодезного журавля, дребезжание телеги где-то возле церкви, на которой резко вырисовываются ее три высоких креста. Слышу чей-то смех, обрывки мирной беседы, которую ведут на завалинках. И, как в любую ночь, как будет это завтра и послезавтра, когда меня здесь не будет, плывут в ночной тиши протяжные девичьи песни из украинской слободы, квакают лягушки.

Ну, хватит! Остановившись у самой двери нашего дома, я затаив дыхание заглядываю в окошко. Слышу, как в притихшей комнате за печкой поет сверчок, как тикают дедушкины ходики, у которых вместо гири привешена ступка. У столика, где застыл желтый самовар, отражающийся головою вниз в мутном треснувшем зеркале, стоит отец. Наморщив лоб и пожевывая кончик длинной бороды, он, по своему обыкновению, разговаривает сам с собой и даже жестикулирует, а затем принимается ходить из угла в угол.

— Бога ради, перестань! — умоляет мама.

Она сидит у стола, худенькая, подперев маленькое личико рукой, и глядит сухими красными глазами в окно, очевидно поджидая меня.

— Спать! — выкрикиваю я весело.

Мне хочется разогнать эту тоску в доме. Я уже предвижу пустоту, осиротелость, которая здесь воцарится, когда я уеду. И без промедления я кидаюсь тут же на кушетку и укрываюсь с головой. Лежу и слышу, как мать с отцом ходят на цыпочках. Потом мать задувает лампу, долго ворочается в постели и вздыхает.

Однако и мне не спится. Когда все в комнате утихает, я сбрасываю с себя одеяло и сажусь. На меня падает лунный свет. На стене напротив кресты от оконных рам. Становлюсь на колени и раскрываю окно. Уже почти рассвело, но луна все еще на небе. Укрывшись замшелыми крышами, спит местечко, где все знают меня и где я знаю всех.

Я высовываю голову в окно и молча прощаюсь с белыми домиками и желаю им всем добра и счастья.

— Ошерка! — слышу я позади мамин голос. — С кем это ты разговариваешь?

— Ни с кем! — вздрагиваю я от неожиданности. — Я жду подводу.

Удивительно, мама и отец, оказывается, уже на ногах. Они, видимо, вовсе не спали.

Мама уже стоит передо мной со стаканом молока. Только теперь я замечаю, что мы уже одного роста с ней и я даже как будто выше.

— Мне не хочется есть, — говорю я.

Но мама клянется, что умрет на месте, если я не поем.

Не успел я выпить молоко, как услышал громохание телеги и заспанный голос Йоси-пророка:

— Вы когда-нибудь там проснетесь?

Боясь опоздать к поезду, мы с отцом в великом волнении принимаемся выносить из дому узлы. Наш извозчик, закрепив вожжи и заложив руки в рукава, сидит на козлах и покрикивает, — он не привык долго ждать.

У меня столько узлов, что матери и отцу негде сесть, и лишь я один устраиваюсь на телеге. Они идут сзади.

Не успели мы добраться до станции, как я сразу же кинулся к начальнику, в кассу:

— Товарищ Шкабура, дайте билет!.. Я уезжаю! Будьте здоровы!

Шкабура выдает мне билет. Зажав в руке желтую картонку, не слыша, что он говорит мне, выбегаю на платформу. В последний раз смотрю на открытый семафор, на желтую песчаную насыпь, на рельсы, которые среди холмистых полей и лугов убегают в неведомый мир.

Я делаю веселый вид, хлопаю себя руками, плюю на рельсы, потом подхожу к родителям. Нужно им что-то сказать перед отъездом, но, как назло, в голове совсем пусто. И я жду не дождусь, чтобы поскорее уж прибыл поезд.

Но вот вышел Шкабура. Раздается первый звонок. Мама обнимает меня и, плача, целует, целует. Чувствую папину бороду у себя на лице. Вижу тянущиеся ко мне руки. Но я уже не понимаю, что со мной.

И вскоре совсем близко гудит паровоз, стучат на стыках колеса. Я хватаюсь за поручни какого-то вагона. Кондуктор что-то кричит и толкает меня, но я пробираюсь внутрь.

Слышу, Шкабура зовет меня прощаться, что-то кричит мама, но здесь так тесно, что невозможно даже повернуться. На площадку вагона летят мой сундук, постель, сумка.

Только когда поезд начинает трогаться, мне удастся высунуть голову в дверь. Отец и мать машут мне рукой, Шкабура приветственно покачивает фонарем, и все, вместе с вокзалом и тополями, уходит назад, становятся все меньше и меньше.

— Закрой дверь! — кричит заспанный кондуктор. — И убери свои узлы с дороги!

В вагоне меня встречают еще хуже. Какая-то женщина обругала меня за то, что я толкнул ее сундуком и разбудил. Еле удерживая равновесие, я осторожно прохожу мимо трех этажей полок, откуда торчат ноги в носках, ноги в сапогах, ноги в туфлях, ноги в лаптях и ноги босые.



Кондуктор становится немного добрее и помогает мне задвинуть под скамью сундук, постель и мешок. А мою тяжелую сумку он так швырнул на третью полку, что загремела эмалированная кружка, а банка с медом и бутыл с молоком от удара, вероятно, треснули. Но это меня мало беспокоит. Пристраиваюсь у кого-то в ногах. Кругом тихо. Слышен только храп да стук колес.

В сердце тревога и жуть, такая жуть, точно я вошел в реку и дно с каждой минутой все больше уходит у меня из-под ног, вода поднимается все выше и выше.

Внезапно кто-то толкает меня в бок.

— Безобразие! — кричит человек. — Это твоя сумка? — Предо мной возникает не очень злое, но растерянное лицо с круглой маленькой бородкой и длинными густыми бровями. — Твоя? — кричит он, непрерывно вытирая растрепанные, слипшиеся волосы, залитые не то сосновым соком, не то гуммиарабиком. Почему-то он все время облизывается. — Это твой мед?

— Мой! — отвечаю я тихо, и мне хочется плакать.

Уже весь вагон проснулся. Кто-то смеется, кто-то застывает за меня, говорит, что я ведь не нарочно.

Чтобы избежать любопытных взглядов, я выхожу в тамбур и прижимаюсь лбом к холодному стеклу.

Быстро-быстро бегут за окном телеграфные столбы, проносятся деревья, кружатся поля. Мелькнул какой-то полустанок и пропал. Все мчится, все скачет назад. Убегает, уходит, кончается что-то в моей жизни и что-то новое, неведомое несется мне навстречу.

Опускаю окно и высовываю голову. Ветер рвет мои волосы. Но мне хочется видеть, что это там мчится мне навстречу.

Ничего мне, конечно, не видно. Впереди только ясное небо, где-то вдаль сливающееся с землей. Оно становится все выше и шире, точно раскрываются ворота, через которые бешеный поезд мчит меня в широкий светлый мир.

СОДЕРЖАНИЕ

М. Блинкова. Повесть радостного сердца . . . 5

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Красные флаги

Перед бурей	15
Буржуи	23
Арон	36
Как за мной гнались колосья	43
Павлик	49
Я очень занят	54
Мы воюем	60
Письмо в Африку	66
О любви	73
Последняя ночь	79
У моста	89
Как закатилось детство	100

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Я становлюсь взрослым

С фронта	109
Друзья	117
Я выступаю с речью	125
Куда деваться?	132
Полюби меня!	137
Председатель Совета	146
Мой товарищ Сролик	152
Голда	157
В грозу	165
В парткоме	177
Работа	182
Что такое с Голдой?	196
Пожар	207
Земля	215
У Матильды	222
Самый печальный день в моей жизни	226
Поезд отходит...	237